



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

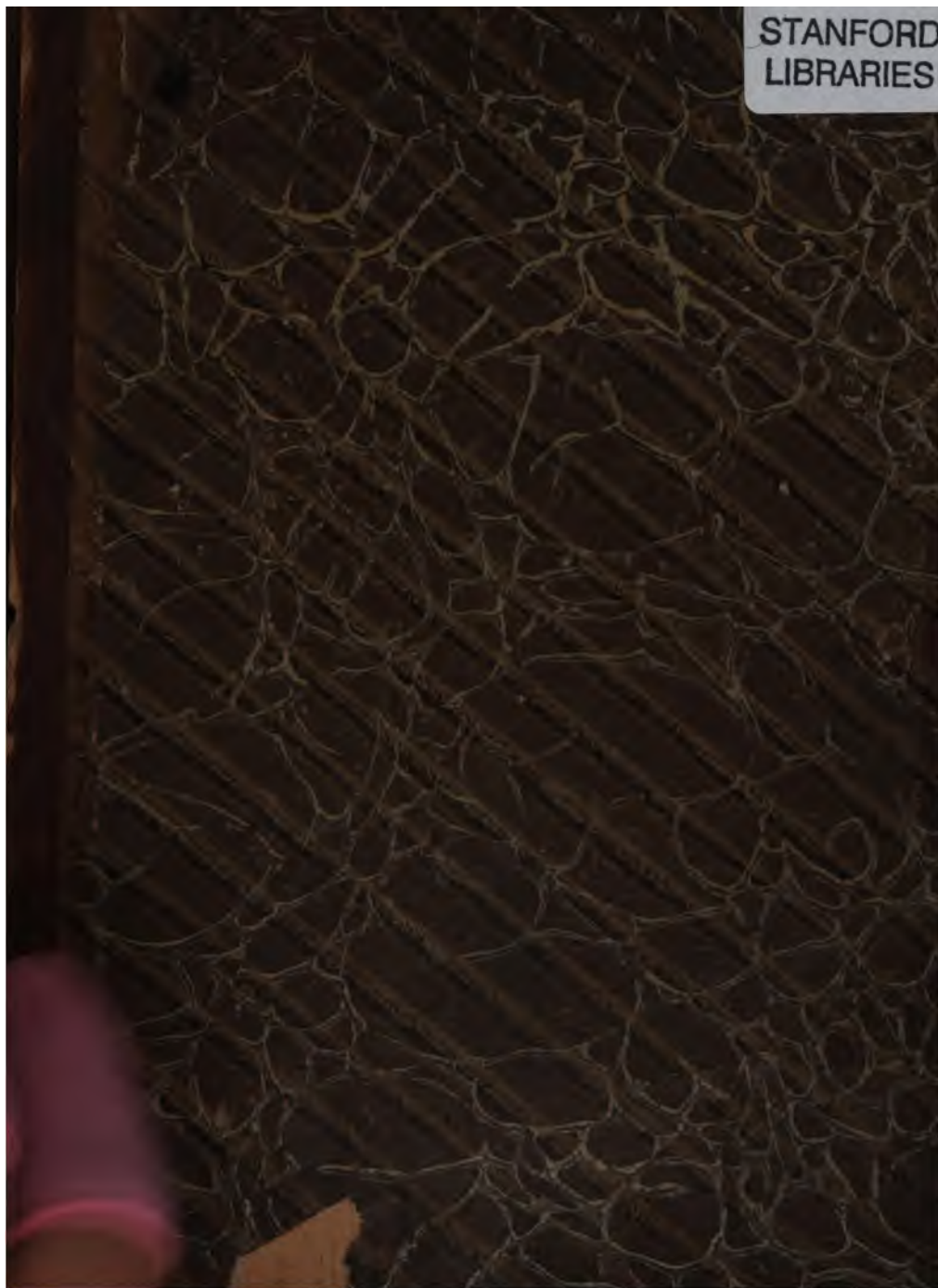
### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

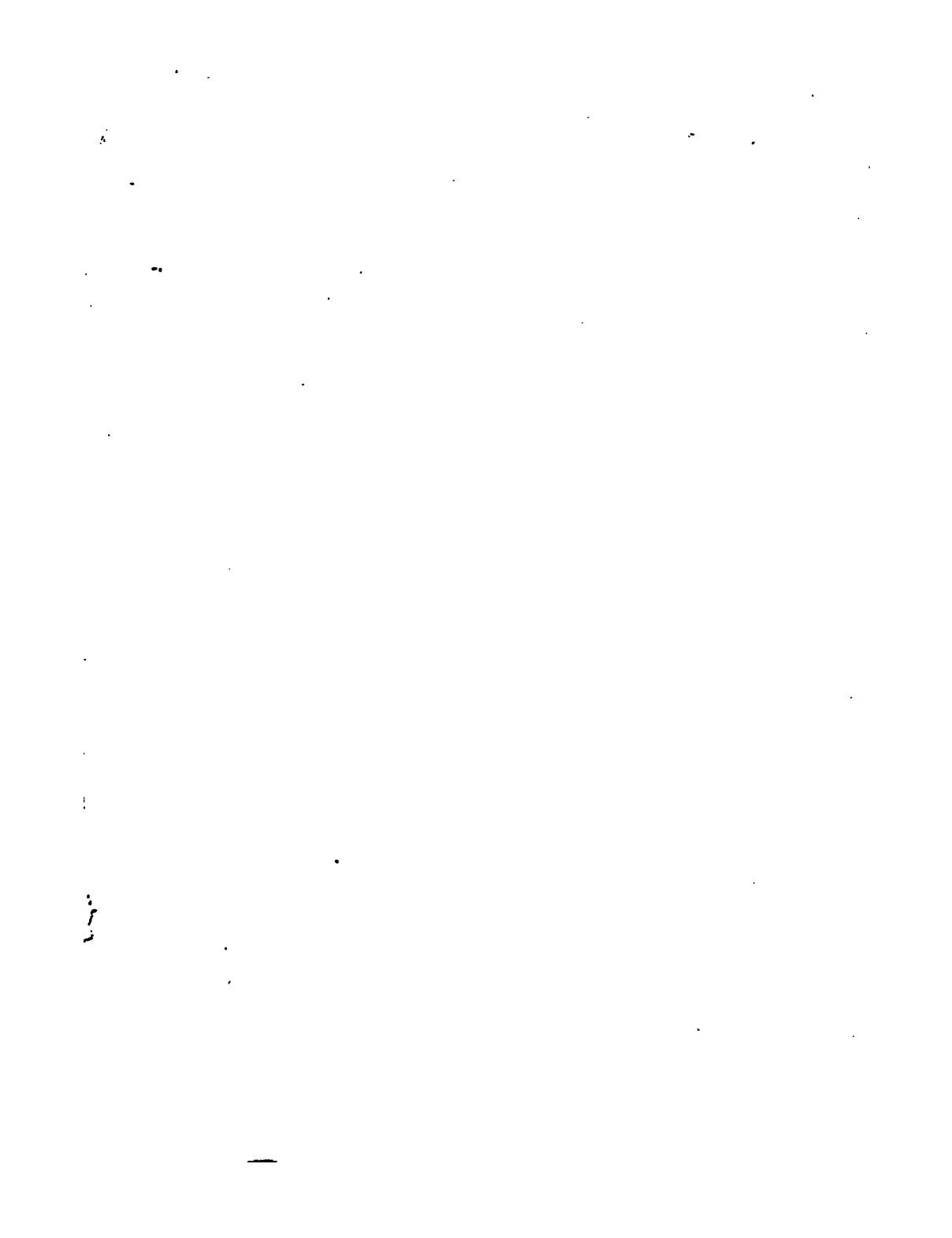
STANFORD  
LIBRARIES



STANFORD  
LIBRARIES













Она видѣла въ немъ перемѣну и часто говорила ему:  
«прежде бывалъ ты веселѣе».

(Бѣдная Лиза, стр. 39).

# РУССКАЯ КЛАССНАЯ БИБЛИОТЕКА,

ИЗДАВАЕМАЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЮ

А. Н. ЧУДИНОВА.

ПОСОВІЕ ПРИ ИЗУЧЕНІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

ВЫПУСКЪ VIII-й.

---

Н. М. КАРАМЗИНЪ.

## ИЗБРАННЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Повѣсти. — Разсужденія. — Стихотворенія.

---

Изданіе И. Глазунова.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ УЛ., № 8.

1892.



# РУССКАЯ КЛАССНАЯ БИБЛИОТЕКА,

ИЗДАВАЕМАЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЮ

А. Н. ЧУДИНОВА.

ПОСОВІЕ ПРИ ИЗУЧЕНІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

ВЫПУСКЪ VIII-й.

---

Н. М. КАРАМЗИНЪ.

## ИЗБРАННЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Повѣсти. — Разсужденія. — Стихотворенія.

Изданіе И. Глазунова.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ УЛ., № 8.

1892.



## Предисловіе.

---

Въ ряду замѣчательнѣйшихъ русскихъ писателей, Н. М. Карамзину выпала наименѣе счастливая участь относительно изданія его сочиненій. Русская читающая публика не только не имѣетъ полнаго собранія ихъ, но многое изъ написаннаго Карамзинымъ до сихъ поръ остается вовсе не напечатаннымъ; многое, вѣроятно, погибло уже безвозвратно. Исполнившееся, въ 1865 г., столѣтіе со дня рожденія нашего исторіографа напомнило о немъ публикѣ и вызвало рядъ монографій, посвященныхъ его литературной дѣятельности, и новыхъ біографическихъ матеріаловъ; но полнаго собранія сочиненій, сколько-нибудь достойнаго Карамзина, все таки не появилось. Лучшимъ, до сихъ поръ, изданіемъ слѣдуетъ признать предпринятое въ 1884 г. Л. Поливановымъ, которое остановилось на 1-й части и представляетъ вполне добросовѣстную попытку критическаго изданія избранныхъ его сочиненій.

При такихъ условіяхъ, учебное изданіе подобнаго писателя представляетъ непреодолимая трудности. По необходимости, намъ приходилось воспроизводить текстъ его по извѣстнымъ, хотя и мало надежнымъ изданіямъ, съ соблюденіемъ принятой въ нихъ орѳографіи. Изъ многаго написаннаго Карамзинымъ, въ наше изданіе вошли наиболѣе лишь характеристическія его произведенія, со стороны языка и содержанія, какъ образцы такъ называемаго сентиментализма въ русской литературѣ. Въ

первой части помѣщены его первые опыты переводовъ, лучшія изъ разсужденій, раскрывающія постепенное развитіе его міросозерцанія, нравственныхъ воззрѣній и патріотизма, нѣсколько стихотворныхъ опытовъ и лучшія изъ повѣстей. Вторая часть заключаетъ въ себѣ большую часть классическихъ „Писемъ русскаго путешественника“. Вообще при выборѣ тѣхъ или иныхъ сочиненій для настоящаго изданія мы имѣли въ виду требованія программъ средне-учебныхъ заведеній министерства народнаго просвѣщенія, духовнаго вѣдомства и военно-учебныхъ. „Исторія государства Россійскаго“, недавно появившаяся въ изданіяхъ „Дешевой Библіотеки“ Суворина, совсѣмъ не включена въ наше изданіе.

Собственные имена, встрѣчающіяся въ текстѣ, пояснены въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ. Мѣста, неудобныя для класснаго разбора въ педагогическомъ отношеніи—а таковыхъ у Карамзина встрѣчается немало—выпущены.

Къ книжкѣ приложены, по обыкновенію, портретъ Карамзина и рисункъ, изображающій сцену изъ „Бѣдной Лизы“ и исполненный по спеціальному заказу издателя художникомъ Е. Пономаревымъ.

---

# АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЕ МАТЕРІАЛЫ.

## I.

### РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ<sup>1)</sup>.

1799 — 1802.

#### ВСТУПЛЕНІЕ.

Съ нѣкотораго времени вошли въ моду *историческіе романы*. Неугомонный родъ людей, который называется *Авторами*, тревожить священный прахъ Нумъ, Авреліевъ, Альфредовъ, Карломановъ, и пользуясь изстари присвоеннымъ себѣ правомъ (едва ли *правымъ*), вызываетъ древнихъ Героевъ изъ ихъ *тѣснаго домика* (какъ говоритъ Оссіанъ), чтобы они, вышедши на сцену, забавляли насъ своими разсказами. Прекрасная кукольная комедія! Одинъ встаетъ изъ гроба въ длинной Римской *тогѣ*, съ сѣдою головою; другой въ коротенькой Гиппанской епанчѣ, съ черными усами — и каждой, протирая себѣ глаза, начинаетъ свою повѣсть съ ялицъ Леды. Только привыкнувъ къ глубокому могильному сну, они часто зѣваютъ; а съ ними вмѣстѣ... и читатели сихъ историческихъ небылицъ. Я никогда не былъ ревностнымъ послѣдователемъ модъ въ нарядахъ; не хочу слѣдовать и модамъ въ авторствѣ; не хочу будить усопшихъ великановъ челоуѣчества; не люблю, чтобы мои читатели зѣвали — и для того, вмѣсто *историческаго романа*, думаю разсказать

---

<sup>1)</sup> Повѣсть „Рыцарь нашего времени“ была напечатана въ „Вѣстникѣ Европы“, но осталась неоконченною. По общему мнѣнію почти всѣхъ біографовъ Карамзина и свидѣтельству многихъ современниковъ, это произведение имѣетъ бесспорное автобіографическое значеніе. Подъ именемъ Леона авторъ изобразилъ себя самого.

*романическую исторію* одного моего пріятеля. Впрочемъ *не любо не слушай*, а говорить *не жъшай*: вотъ мое невинное правило!

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### Рожденіе моего Героя.

Естьли спросите вы, кто онъ? то я... не скажу вамъ. Имя не человѣкъ, говорили Русскіе въ старину. Но такъ живо, такъ живо опишу вамъ свойства, всѣ качества моего пріятеля — черты лица, ростъ, походку его — что вы засмѣетесь и укажете на него пальцомъ... „Слѣдственно онъ живъ?“ Безъ сомнѣнія; и въ случаѣ нужды можетъ доказать, что я не лжецъ и не выдумалъ на него ни *слова*, ни *дѣла* —ни печальнаго, ни смѣшнаго. Однакожъ... надобно какъ нибудь назвать его; частыя мѣстоименія въ Русскомъ языкѣ непріятны; назовемъ его—Леономъ.

На луговой сторонѣ Волги, тамъ, гдѣ впадаетъ въ нее прозрачная рѣка Свѣга, и гдѣ, какъ извѣстно по Исторіи Натальи, Боярской дочери, жилъ и умеръ изгнанникомъ невинный Бояринъ Любославскій — тамъ, въ маленькой деревнѣ, родился прадѣдъ, дѣдъ, отецъ Леоновъ; тамъ родился и самъ Леонъ, въ то время, когда Природа, подобно любезной кокеткѣ, сидящей за туалетомъ, убиралась, наряжалась въ лучшее свое весеннее платье; бѣлилась, румянилась... весенними цвѣтами; смотрѣлась съ улыбкою въ зеркало... водъ прозрачныхъ, и завивала себѣ кудри... на вершинахъ древесныхъ—то есть, въ Маѣ мѣсяцѣ, и въ самую ту минуту, какъ первый лучъ земнаго свѣта коснулся до его глазной перепонки, въ орѣховыхъ кусточкахъ запѣли вдругъ соловей и малиновка, а въ березовой роцѣ закричали вдругъ филинъ и кукушка: хорошее и худое предзнаменованіе! по которому осмидесятилѣтняя повивальная бабка, принявшая Леона на руки, съ веселою усмѣшкой и съ печальнымъ вздохомъ предсказала ему счастье и несчастье въ жизни, ведро и ненастье, богатство и нищету, друзей и непріате-

лей, успѣхъ въ любви и рога при случаѣ. Читатель увидитъ, что мудрая бабка имѣла въ самомъ дѣлѣ даръ пророчества... Но мы не хотимъ заранѣе открывать будущаго.

Отецъ Леоновъ былъ Русскій коренной дворянинъ, изреченной отставной Капитанъ, человѣкъ лѣтъ въ пятьдесятъ, ни богатой, ни убогой, и—что всего важнѣе—самой доброй человѣкъ; однакожъ ни мало не сходный характеромъ съ извѣстнымъ *дядею* Тристрама Шанди<sup>1)</sup> — добрый по-своему, и на Русскую стать. Послѣ Турецкихъ и Шведскихъ кампаній возвратившись на свою родину, онъ вздумалъ жениться—то есть, не совсѣмъ во время — и женился на двадцатилѣтней красавицѣ, дочери самаго ближняго сосѣда, которая, не смотря на молодыя лѣта свои, имѣла удивительную склонность къ меланхолии, такъ что цѣлые дни могла просиживать въ глубокой задумчивости; когда же говорила, то говорила умно, складно и даже съ разительнымъ краснорѣчіемъ; а когда взглядывала на человѣка, то всякому хотѣлось остановиться на себѣ глаза ея: такъ они были привѣтливы и милы!.. Красавицы нашего времени! будьте покойны: я не хочу сравнивать ее съ вами — но долженъ, въ изъясненіе душевной ея любезности, открыть за тайну, что она знала *жестокую*; *жестокая* положила на нее печать свою—и мать героя нашего никогда не была бы супругою отца его, если бы *жестокой* въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ сорвалъ первую фіялку на берегу Свіаги?.. Читатель уже догадался; а еслии нѣтъ, то можетъ — подождать. Время снимаетъ завѣсу со всѣхъ темныхъ случаевъ. Скажемъ только, что сельская наша красавица вышла за-мужъ *непорочною душою и тѣломъ*; и что она искренно любила супруга, во первыхъ за его добродушіе, а во вторыхъ и по тому, что сердце ея никѣмъ другимъ не было... *уже* занято.

<sup>1)</sup> Герой извѣстнаго романа того-же имени, написаннаго знаменитымъ англійскимъ юмористомъ Стерномъ, авторомъ „Сантиментальнаго путешествія“, которое послужило образцомъ для „Писемъ русскаго путешественника“ Ка-рамзина.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

### Каковъ онъ родился.

Юнныя супруги, съ милымъ нетерпѣніемъ ожидающія плода отъ брачнаго, нѣжнаго союза вашего! есть ли вы хотите имѣть сына, то какимъ его воображаете? Прекраснымъ?... Таковъ былъ Леонъ. Бѣленькимъ, полненькимъ, съ розовыми губками, съ Греческимъ носикомъ, съ черными глазками, съ кофейными волосами на кругленькой головкѣ: не правда ли?... таковъ былъ Леонъ. Теперь вы имѣете объ немъ идею: поцѣлуйте же его въ мысляхъ, и ласковою улыбкою ободрите младенца жить на свѣтѣ, а меня быть его историкомъ!

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

### Его первое младенчество.

Но что говорить о младенствѣ? оно слишкомъ просто, слишкомъ невинно, а потому и совсѣмъ нелюбопытно для насъ, испорченныхъ людей. Не спору, что въ нѣкоторомъ смыслѣ можно назвать его щастливымъ временемъ, истинною Аркадіею жизни; но потому-то и нечего писать объ немъ. Страсти, страсти! какъ вы ни жестоки, какъ ни пагубны для нашего спокойствія, но безъ васъ нѣтъ въ свѣтѣ ничего прелестнаго; безъ васъ жизнь наша есть прѣсная вода, а человекъ кукла; безъ васъ нѣтъ ни трогательной исторіи, ни занимательнаго романа. Назовемъ младенчество прекраснымъ лужкомъ, на которой хорошо взглянуть, которой хорошо похвалить двумя, тремя словами, но котораго описывать подробно не совѣтую никакому стихотворцу. Страшныя дикія скалы, шумныя рѣки, черныя лѣса, Африканскія пустыни, дѣйствуютъ на воображеніе сильнѣе долинъ Темпейскихъ. Какъ? для чего? не знаю; но знаю то, что самой нѣжной другъ дѣтей, хваля и хваля ихъ невинность, ихъ щастье, скоро будетъ зѣвать и задремлетъ, еслии глазамъ или мыслямъ его не представится что нибудь совсѣмъ противное сей невинности, сему щастію.

Однакожь, читатель обидитъ меня, если подумаетъ, что я такимъ отзывомъ хочу закрыть песчаную бесплодность моего воображенія и скорѣе поставить точку. Нѣтъ, нѣтъ! клянусь Аполлономъ, что я могъ бы набрать довольно цвѣтовъ для украшенія этой главы; могъ бы, не отходя отъ исторической истины, описать живыми красками нѣжность Леоновой родительницы; могъ бы, не нарушая ни Аристотелевыхъ, ни Горациевыхъ правилъ, десять разъ перемѣнить слогъ, быстро паря вверхъ и плавно опускаясь внизъ,—то рисуя карандашемъ, то расписывая кистью—мѣшая важныя мысли для ума съ трогательными чертами для сердца; могъ бы, на примѣръ, сказать:

„Тогда не было еще Эмиля, въ которомъ Жанъ Жакъ „Руссо такъ краснорѣчиво, такъ убѣдительно говоритъ о священномъ долгѣ матерей, и читая котораго, прекрасная „Эмилія, милая Лидія, отказываются нынѣ отъ блестящихъ „собраній, и нѣжную грудь свою открываютъ не съ намѣреніемъ прельщать глаза молодыхъ сластолюбцевъ, а для того, „чтобы питать ею своего младенца; тогда не говорилъ еще „Руссо, но говорила уже Природа, и мать Героя нашего сама „была его кормилицею. И такъ не удивительно, что Леонъ „на зарѣ жизни своей плакалъ, кричалъ и не могъ рѣже другихъ младенцевъ: молоко нѣжныхъ родительницъ есть для „дѣтей и лучшая пища и лучшее лекарство. Отъ колыбели „до маленькой кроватки, отъ жестяной гремушки до маленькаго раскрашеннаго конька, отъ первыхъ нестройныхъ звуковъ голоса до внятнаго произношенія словъ, Леонъ не зналъ „неволи, принужденія, горя и сердца. Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила его; была первымъ впечатлѣніемъ „его души, первою краскою, первою чертою на *бѣломъ листѣ „ея чувствительности* <sup>1)</sup>. Уже внѣшніе предметы начали „возбуждать его вниманіе; уже и взоромъ, и движеніемъ руки,

---

<sup>1)</sup> Локкъ говоритъ, кажется, что душа рожденнаго младенца есть бѣлый листъ бумаги. *Прим. автора.*

„и словами часто спрашивалъ онъ у матери: *что вижу? что слышу?* уже научился онъ ходить и бѣгать — но ничто не занимало его такъ, какъ ласки родительницы; никакого вопроса не повторялъ онъ столь часто, какъ: *маменька! что тебѣ надобно?* никуда не хотѣлъ итти отъ нея, и только ходя за нею, ходить научился.“

Не правда ли, что это могло бы иному полюбиться? Тутъ есть и живопись и антитезы и пріятная игра словъ. Но я могъ бы итти еще далѣе; могъ бы прибавить:

„Вотъ основаніе характера его! Первое воспитаніе едва ли не всегда рѣшить и судьбу и главныя свойства человѣка. „Душа Леонова образовалась любовью и для любви. Теперь обманывайте, терзайте его, жестокіе люди! онъ будетъ воздыхать и плакать; но никогда—или по крайней мѣрѣ долго, „долго сердце его не отвыкнетъ отъ милой склонности наслаждаться собою въ другомъ сердцѣ; не отстанетъ отъ нѣжной привычки жить для кого нибудь, не смотря на всѣ горести, на всѣ свирѣпыя бури, которыя волнуютъ жизнь чувствительныхъ. Такъ вѣрный подсолнечникъ не перестаетъ никогда обращаться къ солнцу; обращается къ нему и тогда, „какъ грозныя облака затмѣваютъ свѣтило дня—и поутру и „вечеру—и тогда, какъ самъ онъ начинаетъ уже вянуть и „сохнуть; все, все къ нему обращается, до послѣдней минуты „растительнаго бытія своего!“

Надѣюсь, что одинъ Зоилъ <sup>1)</sup> не похвалилъ бы сего мѣста, особливожь новаго, разительнаго сравненія чувствительныхъ сердець, которыя всегда стремятся къ любви, съ цвѣткомъ подсолнечникомъ, всегда клонящимся къ солнцу. Надѣюсь, что нѣкоторыя милыя мои читательницы вздохнули бы изъ глубины сердца и велѣли бы вырѣзать сей цвѣтокъ на своихъ печатяхъ.

---

<sup>1)</sup> Наричательное названіе злыхъ, придирчивыхъ критиковъ, по имени одного греческаго ратора, жившаго въ III в. до Р. Х. и прославившагося своей злою и мелочною критикою Гомеровскихъ поэмъ.

„Конецъ главѣ!“ скажетъ читатель. Нѣтъ, я могъ бы еще многое придумать и раскрасить; могъ бы наполнить десять, двадцать страницъ описаніемъ Леонова дѣтства; напримѣръ, какъ мать была единственнымъ его лексикономъ; то есть какъ она учила его говорить, и какъ онъ, забывая слова другихъ, замѣчалъ и помнилъ каждое ея слово; какъ онъ, зная уже имена всѣхъ птичекъ, которыя порхали въ ихъ саду и въ рощѣ, и всѣхъ цвѣтовъ, которые росли на лугахъ и въ полѣ, не зналъ еще, какимъ именемъ называютъ въ свѣтѣ дурныхъ людей и дѣла ихъ; какъ развивались первыя способности души его; какъ быстро она вбирала въ себя дѣйствія внѣшнихъ предметовъ, подобно весеннему лужку, жадно впивающему первый весенній дождь; какъ мысли и чувства рождались въ ней подобно свѣжей Апрѣльской зелени; сколько разъ въ день, въ минуту, нѣжная родительница цѣловала его, плакала и благодарила Небо; сколько разъ и онъ маленькими своими рученками обнималъ ее, прижимаясь къ ея груди; какъ голосъ его тверже и тверже произносилъ: *люблю тебя, маменька!* и какъ сердце его время отъ времени чувствовало это живѣе!

Слова мои текли бы рѣкою, естъли бы я только хотѣлъ войти въ подробности; но не хочу, не хочу! Мнѣ еще многое надобно описывать; берегу бумагу, вниманіе читателя и... конецъ главѣ!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Которая написана только для пятой.

Государи мои! вы читаете не романъ, а былъ: слѣдственно Авторъ не обязанъ вамъ давать отчета въ происшествіяхъ. *Такъ было точно!*... и болѣе не скажу ни слова. Кстати ли? у мѣста ли? не мое дѣло. Я иду только съ перомъ въ слѣдъ за Судьбою, и описываю, что творить она по своему всемогуществу—для чего? спросите у нее; но скажу вамъ напередъ, что отвѣта не получите. Семь тысячъ лѣтъ (естьли вѣрить Хронографамъ) чудесить она въ мірѣ, и никому еще не изъ-

яснила чудеса своихъ. Заглянемъ ли въ Исторію, или посмотримъ, что вокругъ насъ дѣлается: вездѣ Сфинксовы загадки, которыхъ и самъ Эдипъ не отгадаетъ <sup>1)</sup>.—Роза вянетъ, терніе остается; столѣтній дубъ, благодѣтель странниковъ, падаетъ на землю отъ громоваго удара; ядовитое дерево стоитъ невредимо на своемъ корнѣ. Петръ Великій, среди благодѣтельныхъ замысловъ для отечества, хладѣетъ въ объятіяхъ смерти; ничтожный человѣкъ не рѣдко два раза изъ вѣка въ вѣкъ переходитъ. Юный щастливецъ, котораго жизнь можно назвать улыбкою судьбы и Природы, угасаетъ въ минуту какъ метеоръ: злополучный, не нужный для свѣта, тягостный для самого себя, живетъ, и не можетъ дожидаться конца своего... Чтожъ намъ дѣлать? Плакать, у кого есть слезы, и хотя изрѣдка утѣшаться мыслию, что здѣшній свѣтъ есть только Прологъ Драмы!

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

### Первый ударъ Рока.

Дунулъ сѣверный вѣтеръ на нѣжную грудь нѣжной родительницы, и Геній жизни ея погасилъ свой факелъ!... Да, любезный читатель, она простудилась, и въ девятый день съ мягкой постели переложили ее на жесткую: въ гробъ — а тамъ и въ землю — и засыпали, какъ водится — и забыли въ свѣтѣ, какъ водится... Нѣтъ, поговоримъ еще о послѣднихъ ея минутахъ.

Герой нашъ былъ тогда семи лѣтъ. Во всю болѣзнь матери онъ не хотѣлъ итти прочь отъ ея постели; сидѣлъ, стоялъ подлѣ нея; глядѣлъ безпрестанно ей въ глаза; спрашивалъ: „лучше ли тебѣ, милая?“ *Лучше, лучше*, говорила она, пока говорить могла — смотрѣла на него: глаза ея наполнялись слезами — смотрѣла на небо — хотѣла ласкать любимца

---

<sup>1)</sup> См. преданіе о сынѣ Фиванскаго царя Эдипѣ, рассказанное у Софокла. Сфинксъ, мнѣиическое чудовище, жившее на скалѣ возлѣ Фивъ, задаетъ ему загадку о человѣкѣ: „что имѣетъ голосъ, утромъ о 4-хъ ногахъ, въ полдень о двухъ и вечеромъ о 3-хъ“.

души своей, и боялась, чтобы ея болѣзнь не пристала къ нему—то говорила съ улыбкою: *сядь подлѣ меня*; то говорила со вздохомъ: *поди отъ меня!*.. Ахъ! онъ слушался только перваго; другому приказанію не хотѣлъ повиноваться.

Надобно было силою оттащить его отъ умирающей. *Постояйте, постояйте!* кричалъ онъ со слезами: *маменька хочетъ мнѣ что-то сказать; я не отойду, не отойду!*.. Но маменька отошла между тѣмъ отъ здѣшняго свѣта.

Его вынесли, хотѣли утѣшать: напрасно!... Онъ твердилъ одно: *къ милой!* вырвался наконецъ изъ рукъ няни, прибѣжалъ, увидѣлъ мертвую на столѣ, схватилъ ея руку: она была какъ дерево—прижался къ ея лицу: оно было какъ ледъ... *Ахъ, маменька!* закричалъ онъ, и упалъ на землю. Его опять вынесли, больнаго, въ сильномъ жару.

Отецъ рвался, плакалъ: онъ любилъ супругу, какъ только могъ любить. Сердцу его извѣстны были горести въ жизни; но сей ударъ Судьбы казался ему первымъ несчастіемъ.

Съ блѣднымъ лицомъ, съ распущенными сѣдыми волосами стоялъ онъ подлѣ гроба, когда отиѣвали усопшую; рыдая прощался съ нею; съ жаромъ цѣловалъ ея лицо и руки; самъ опускалъ въ могилу; бросилъ на гробъ первую горсть земли; сталъ на колѣни; поднялъ вверхъ глаза и руки; сказалъ: *на небесахъ душа твоя! мнѣ не долго жить остается!* и тихими шагами пошелъ домой. Сынъ его лежалъ взыбтыи; онъ сѣлъ подлѣ кровати и думалъ: *неужели и ты пойдешь въ слѣдъ за матерью? неужели вы меня одного оставите? Да будетъ воля Всевышняго!* — Леонъ открылъ глаза, всталъ и протянулъ къ отцу руки, говоря: *идѣ она? идѣ она?* — „Съ Ангелами, другъ мой!“ — „И не будетъ къ намъ назадъ?“ — „Мы къ ней будемъ.“ — „Скоро ли?“ — „Скоро, другъ мой; время летитъ и для печальныхъ.“ — Они обнялись, заплакали: старецъ лилъ слезы вмѣстѣ съ младенцемъ!... имъ стало легче.

И ты, о благотворное время! спѣши излить цѣлебный свой бальзамъ на рану ихъ сердца! И ты, подобно Морфею,

разсыпашь маковые цвѣты забвенія: брось нѣсколько цвѣточковъ на юнаго моего Героя: ахъ! онъ еще не созрѣлъ для глубокой, непрестанной горести; и много, много еще будетъ ему случаевъ тосковать въ жизни! Пощади его младенчество! Не забудь утѣшить и старца: онъ былъ всегда добрымъ человекомъ; рука его, вооруженная лютымъ долгомъ война, убивала гордыхъ непріятелей, но сердце его никогда не участвовало въ убійствѣ; никогда нога его, въ самомъ пылу сраженія, не ступала безчеловѣчно на трупы несчастныхъ жертвъ: онъ любилъ погребать ихъ и молиться о спасеніи душъ. Благодетельное время! успокой старца; дай ему еще нѣсколько мирныхъ лѣтъ, хотя для того, чтобы онъ могъ посвятить ихъ на воспитаніе сына. Пусть иногда вспоминаютъ они о любезной, но безъ тоски и страданія; пусть ударъ горести изрѣдка отдается въ ихъ сердцахъ, но тише и тише, подобно эху, которое повторяется слабѣе, слабѣе и наконецъ... замолкаетъ.

Читатель! я хочу, чтобы мысль о покойной осталась въ душѣ твоей: пусть она притаится во глубинѣ ея, но не исчезнетъ! Когда нибудь мы дадимъ тебѣ въ руки маленькую тетрадку—и мысль сія оживится—и въ глазахъ твоихъ сверкнутъ слезы—или я... не Авторъ.

1799 г.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

**Успѣхи въ ученіи, въ образованіи ума и чувства.**

И такъ летящее время обтерло своими крылами слезы горестныхъ, и всякой снова принялся за свое дѣло: отецъ за хозяйство, а сынъ за часовникъ. Сельской дьячекъ, славнѣйшій грамотѣй въ околѣхъ, былъ первымъ учителемъ Леона, и не могъ нахвалиться его понятіемъ. „Въ три дни“—разсказывалъ онъ за чудо другимъ грамотѣямъ—„въ три дни затвердить всѣ буквы, въ недѣлю всѣ склады; въ другую разбирать слова и титлы: это не видано, не слыхано! Въ ребенкѣ будетъ путь.“

Въ самомъ дѣлѣ, онъ имѣлъ необыкновенное понятіе, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ могъ читать всѣ церковныя книги какъ *Отче нашъ*; такъ же скоро выучился и писать; такъ же скоро началъ разбирать и печать свѣтскую, къ удивленію сосѣдственныхъ дворянъ, при которыхъ отецъ не рѣдко заставлялъ читать Леона, чтобы радоваться въ душѣ своей ихъ похвалами. Первая свѣтская книга, которую маленькой Герой нашъ, читая и читая, наизусть вытвердилъ, была Езоповы Басни: отъ чего во всю жизнь свою имѣлъ онъ рѣдкое уваженіе къ безсловеснымъ тварямъ, помня ихъ умныя разсужденія въ книгѣ Греческаго мудреца, и часто, видя глупости людей, жалѣлъ, что они не имѣютъ благоразумія скотовъ Езоповыхъ.

Скоро отдали Леону ключъ отъ желтаго шкапа, въ которомъ хранилась библіотека покойной его матери, и гдѣ на двухъ полкахъ стояли романы, а на третьей нѣсколько духовныхъ книгъ: важная эпоха въ образованіи его ума и сердца! Даира, восточная повѣсть, Селимъ и Дамасина, Мирамондъ, Исторія Лорда N. <sup>1)</sup>: все было прочтено въ одно лѣто, съ такимъ любопытствомъ, съ такимъ живымъ удовольствіемъ, которое могло бы испугать инаго воспитателя, но которымъ отецъ Леоновъ не могъ нарадоваться, полагая, что охота къ чтенію какихъ бы то ни было книгъ есть хорошій знакъ въ ребенкѣ. Только иногда по вечерамъ говаривалъ онъ сыну: „Леонъ! не испорти глазъ. Завтра день будетъ; успѣешь начитаться“. А самъ про себя думалъ: „весь въ мать! бывало изъ рукъ не выпускала книги. Милой ребенокъ! будь во всемъ похожъ на нее; только будь долготѣнѣ!“

Но чѣмъ же романы плѣняли его? Неужели картина любви имѣла столько прелестей для осьми или десятилѣтняго

---

<sup>1)</sup> Чувствительныя повѣсти того времени, описывающія печальныя похождения героевъ, заключенія которыхъ обыкновенно оканчиваются счастливою развязкой, въ которой добродѣтель торжествуетъ, а порокъ получаетъ должное наказаніе. „Похожденія Мирамонда“ повѣсть Ф. Эмина, одного изъ писателей того времени; остальные переводныя.

мальчика, чтобы онъ могъ забывать веселія игры своего возраста и цѣлой день просиживать на одномъ мѣстѣ, впиваясь, такъ сказать, всѣмъ дѣтскимъ вниманіемъ своимъ въ нескладницу Мирамонда или Даиры? Нѣтъ, Леонъ занимался болѣе происшествіями, связію вещей и случаевъ, нежели чувствами любви романической. Натура бросаетъ насъ въ міръ, какъ въ темный, дремучій лѣсъ, безъ всякихъ идей и свѣдѣній, но съ большимъ запасомъ любопытства, которое весьма рано начинаетъ дѣйствовать въ младенцѣ, тѣмъ ранѣе, чѣмъ природная *основа* души его нѣжнѣе и совершеннѣе. Вотъ то бѣлое облако на зарѣ жизни, за которымъ скоро является свѣтило знаній и опытовъ! Если положить на вѣсы съ одной стороны тѣ мысли и свѣдѣнія, которыя въ душѣ младенца накапливаются въ теченіе десяти недѣль, а съ другой идеи и знанія, приобретаемыя зрѣлымъ умомъ въ теченіе десяти лѣтъ: то перевѣсъ окажется, безъ всякаго сомнѣнія, на сторонѣ первыхъ. Благодѣтельная Натура спѣшитъ надѣлать новорожденного всѣмъ необходимымъ для мірскаго странствія: разумъ его летитъ орломъ въ началѣ жизненнаго пространства; но тамъ, гдѣ предметомъ нашего любопытства становится уже не истинная нужда, но только суемудріе, тамъ полетъ обращается въ пѣшеходство и шаги дѣлаются часъ отъ часу труднѣе.

Леону открылся новый свѣтъ въ романахъ; онъ увидѣлъ, какъ въ магическомъ фонарѣ, множество разнообразныхъ людей на сценѣ, множество чудныхъ дѣйствій, приключеній — игру Судьбы, дотолѣ ему совсѣмъ неизвѣстную... (но тайное предчувствіе сердца говорило ему: *ахъ! и ты, и ты будешь некогда ея жертвою! и тебя схватитъ, унесетъ сей вихоръ... куда?... куда?...*) Передъ глазами его безпрестанно поднимался новой занавѣсъ: ландшафтъ за ландшафтомъ, группа за группой, являлись взору. — Душа Леонова плавала въ книжномъ свѣтѣ, какъ Христофоръ Колумбъ на Атлантическомъ морѣ, для открытія... сокрытаго.

Сіе чтеніе не только не повредило его юной душѣ, но было еще весьма полезно для образованія въ немъ нравственнаго чувства. Въ Данрѣ, Мирамондѣ, въ Селимѣ и Дамасинѣ (знаетъ ли ихъ читатель?), однимъ словомъ, во всѣхъ романахъ желтаго шкапа, Герои и Героини, не смотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельными; всѣ злодѣи описываются самыми черными красками; первые наконецъ торжествуютъ, послѣдніе наконецъ какъ прахъ исчезаютъ. Въ нѣжной Леоновой душѣ непримѣтнымъ образомъ, но буквами неизгладимыми, начерталось слѣдствіе: „и такъ любезность и добродѣтель одно! и такъ зло безобразно и гнусно! и такъ добродѣтельный всегда побѣждаетъ, а злодѣй гибнетъ!“ Сколь же такое чувство спасительно въ жизни, какою твердою опорою служить оно для доброй нравственности, нѣтъ нужды доказывать. Ахъ! Леонъ въ совершенныхъ лѣтахъ часто увидитъ противное, но сердце его не разстанется съ своею утѣшительною системою; вопреки самой очевидности онъ скажетъ: „нѣтъ, нѣтъ, торжество порока есть обманъ и призракъ!“

Нѣтъ, нѣтъ! не буду ослѣпленъ  
Симъ блескомъ, сколь онъ ни прекрасенъ!  
Драконъ на время усыпленъ,  
Но самый сонъ его ужасенъ!  
Злодѣй на Этнѣ стронетъ домъ,  
И пепелъ подъ его ногами  
(Тамъ лава устлана цвѣтами,  
И въ тишинѣ таится громъ).  
Пусть онъ не знаетъ угрызенъ!  
Онъ недостойнъ знать его.  
Безчувственность есть адъ того,  
Кто зло творитъ безъ сожалѣнья!

Съ какимъ живымъ удовольствіемъ маленькой нашъ Герой, въ шесть или семь часовъ лѣтнаго утра, поцѣловавъ руку у своего отца, спѣшилъ съ книгою на высокой берегъ Волги, въ орѣховые кусточки, подъ сѣнь древняго дуба! Тамъ, въ бѣленькомъ своемъ камзольчикѣ бросающійся на зелень, среди по-

левыхъ цвѣтовъ самъ онъ казался прекраснѣйшимъ, одушевленнымъ цвѣтомъ. Русые волосы, мягкіе какъ шелкъ, развѣвались вѣтеркомъ по розамъ милаго личика. Шляпка служила ему столикомъ: на нее клалъ онъ книгу свою, одною рукою подпирая голову, а другою перевертывая листы, въ слѣдъ за большими, голубыми глазами, которые летѣли съ одной страницы на другую, и въ которыхъ, какъ въ ясномъ зеркалѣ, изображались всѣ страсти, худо или хорошо описываемыя въ романѣ: удивленіе, радость, страхъ, сожалѣніе, горестъ. Иногда, оставляя книгу, смотрѣлъ онъ на синее пространство Волги, на бѣлые парусы судовъ и лодокъ, на станицы рыболововъ, которые изъ-подъ облаковъ дерзко опускаются въ пѣну волнъ, и въ то же мгновеніе снова парятъ въ воздухѣ.— Сія картина такъ сильно впечатлѣлась въ его юной душѣ, что онъ черезъ двадцать лѣтъ послѣ того, въ кипѣніи страстей, въ пламенной дѣятельности сердца, не могъ безъ особенливаго радостнаго движенія видѣть большой рѣки, плывущихъ судовъ, летающихъ рыболововъ: Волга, родина и безпечная юность тотчасъ представлялись его воображенію, трогали душу, извлекали слезы. Кто не испыталъ нѣжной силы подобныхъ воспоминаній, тотъ не знаетъ весьма сладкаго чувства. Родина, Апрельъ жизни, первые цвѣты весны душевной! какъ вы милы всякому, кто рожденъ съ любезною склонностію къ меланхоліи.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

### Провидѣніе.

Въ сіе лѣто Леоново сердце вкусило живое чувство Міроправителя, при такомъ случаѣ, о которомъ онъ послѣ во всю жизнь свою не могъ вспоминать равнодушно. Мысль о Божествѣ была одною изъ первыхъ его мыслей. Нѣжная родительница наилучшимъ образомъ старалась утвердить ее въ душѣ Леона. Срывая для него весенній луговой цвѣтокъ или садовый лѣтній плодъ, она всегда говорила: „Богъ даетъ намъ цвѣты, Богъ даетъ намъ плоды!“—*Богъ!* повторилъ од-

нажды любопытный младенецъ: *кто Онъ, маменька?*— „Небесный отецъ всѣхъ людей, которой ихъ питаетъ и дѣлаетъ имъ всякое добро; который далъ мнѣ тебя, а тебѣ меня“. *Тебя, милая? Какой же Онъ доброй! Я стану всегда любить Его!*— „Люби, и молись Ему всякой день“.— *Какъ же Ему молиться?*— „Говори: Боже! будь къ намъ милостивъ!“— *Стану, стану, милая!*... Леонъ съ того времени всегда молился Богу. Ахъ! онъ молился Ему со слезами въ болѣзнь родительницы своей?— Но судьбы Вышняго неисповѣдимы. — Такова была Религія нашего Героя до сего лѣта и до случая, который теперь описать желаю.

Въ одинъ жаркой день онъ, по своему обыкновенію, читалъ книгу подъ сѣнію древняго дуба; старикъ дядька сидѣлъ на травѣ въ десяти шагахъ отъ него. Вдругъ нашла туча, и солнце закрылось черными парами. Дядька звалъ домой Леона. „Погоди“, отвѣчалъ онъ, не спуская глазъ съ книги. Блеснула молнія, загремѣлъ громъ, пошелъ дождикъ. Старикъ непремѣнно хотѣлъ итти домой. Леонъ завернулъ книгу въ платокъ, всталъ и посмотрѣлъ на бурное небо. Гроза усиливалась: онъ любовался блескомъ молніи, и шелъ тихо, безъ всякаго страха. Вдругъ изъ густаго лѣсу выбѣжалъ медвѣдь и прямо бросился на Леона. Дядька не могъ даже и закричать отъ ужаса. Двадцать шаговъ отдѣляютъ нашего маленькаго друга отъ неизбѣжной смерти: онъ задумался, и не видитъ опасности; еще секунда, двѣ—и несчастный будетъ жертвою яростнаго звѣря. Грянулъ страшный громъ... какого Леонъ никогда не слыхивалъ; казалось, что небо надъ нимъ обрушилось, и что молнія обвилась вокругъ головы его. Онъ закрылъ глаза, упалъ на колѣни и только могъ сказать: „Господи!“ черезъ полминуты взглянулъ—и видитъ передъ собою убитаго громомъ медвѣдя. Дядька на силу могъ образумиться и сказать ему, какимъ чудеснымъ образомъ Богъ спасъ его, Леонъ стоялъ все еще на колѣняхъ, дрожалъ отъ страха и дѣйствія электрической силы; наконецъ устремилъ глаза на небо, и не смотря на черныя густыя тучи, онъ ви-

дѣлъ, чувствовалъ тамъ присутствіе Бога—спасителя. Слезы его лились градомъ; онъ молился во глубинѣ души своей, съ пламенною ревностію, необыкновенною во младенцѣ; и молитва его была... благодарность! — Леонъ не будетъ уже никогда атеистомъ, если прочитаетъ и Спинозу и Гоббеса и *Систему Натуры* <sup>1)</sup>.

Читатель! вѣрь или не вѣрь: но этотъ случай не выдумка. Я превратилъ бы медвѣдя въ благороднѣйшаго льва или тигра, если бы они... были у насъ въ Россіи.

## ГЛАВА ОСЬМАЯ.

### Братское общество провинціальныхъ дворянъ.

Знаю, что все идетъ къ лучшему; знаю выгоды нашего времени, и радуюсь успѣхамъ просвѣщенія въ Россіи; одна-кожъ съ удовольствіемъ обращаю взоръ и на тѣ времена, когда наши дворяне, взявъ отставку, возвращались на свою родину съ тѣмъ, чтобы уже никогда не разставаться съ ея мирными Пенатами; рѣдко заглядывали въ городъ; доживали вѣкъ свой на свободѣ и въ безопасности; правда иногда ску-чали въ уединеніи, но за то умѣли и веселиться при случаѣ, когда съѣзжались вмѣстѣ. Ошибаюсь ли? но мнѣ кажется, что въ нихъ было много характернаго, особеннаго—чего те-перь уже не найдемъ въ провинціяхъ, и что по крайней мѣрѣ занимательно для воображенія.—Просвѣщеніе сближаетъ свойства народовъ и людей, равняя ихъ, какъ деревья въ саду регулярномъ.

Капитанъ Радушинъ, отецъ Леоновъ, любилъ угощать добрыхъ пріятелей, чѣмъ Богъ послалъ. Сынъ всякой разъ съ великимъ удовольствіемъ бѣжалъ сказать ему: „батюшка! ѣдутъ гости!“ а Капитанъ нашъ отвѣчалъ: „добро пожало-вать!“ надѣвалъ круглой парикъ свой, и шелъ къ нимъ на

<sup>1)</sup> Спиноза (1632 — 1677) — знаменитый философ-пантеистъ. Т. Гоббесъ (1588 — 1679) — англійскій философ матеріалистическаго направленія. „Система натуры“ — сочиненіе французскаго философа Гольбаха атеисти-ческаго направленія.

встрѣчу съ лицомъ веселымъ. Способъ наскутить людьми есть быть съ ними безпрестанно; способъ живо наслаждаться ихъ обществомъ есть видѣться съ ними изрѣдка. Провинціалы наши не могли наговориться другъ съ другомъ; не знали, что за звѣрь Политика и Литтература, а разсуждали, спорили и шумѣли. Деревенское хозяйство, охота, извѣстныя тяжбы въ Губерніи, анекдоты старины, служили богатою матеріею для разсказовъ и примѣчаній... Ахъ! давно уже смерть и время бросили на васъ темный покровъ забвенія, витязи *С\*\*скаго* уѣзда, вѣрные друзья Капитана Радущина! Лебрюнъ и Лампи не сохранили для насъ вашего образа; но я не даромъ авторъ Леоновой исторіи: зеркало памяти моей ясно. Какъ теперь смотрю на тебя, заслуженный Маіоръ Оадей Громиловъ, въ черномъ большомъ парикѣ, зимою и лѣтомъ въ малиновомъ бархатномъ камзолѣ, съ кортикомъ на бедрѣ и въ желтыхъ Татарскихъ сапогахъ; слышу, слышу, какъ ты, не привыкнувъ ходить на цыпкахъ въ комнатахъ знатныхъ господъ, стучишь ногами еще за двѣ горницы и подаешь о себѣ вѣсть издали громкимъ своимъ голосомъ, которому нѣкогда рота Ландмилиціи повиновалась, и который въ яркихъ звукахъ своихъ не рѣдко ужасалъ дурныхъ Воеводъ провинціи! Вижу и тебя, сѣдовласый Ротмистръ Бушиловъ, прострѣленный насквозь Башкирскою стрѣлою въ степяхъ Уфимскихъ; слабый ногами, но твердый душею; ходившій на клюкахъ, но сильно махавшій ими, когда надлежало тебѣ представить живо или ударъ твоего эскадрона или омерзѣніе свое къ безчестному дѣлу какого нибудь недостойнаго дворянина въ нашемъ уѣздѣ! Гляжу и на важную осанку твою, бывшій Воеводскій Товарищъ Прямодушинъ, и на орлиный носъ твой, за который не могъ водить тебя Секретарь провинціи, ибо совѣсть умнѣе крючкотворства; вижу, какъ ты, рассказывая о Биронѣ и Тайной Канцеляріи, опираешься на длинную трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, которую подарилъ тебѣ Фельдмаршалъ Минихъ... вижу всѣхъ васъ, достойные матадоры провинціи, которыхъ бесѣда имѣла вліяніе на ха-

рактеръ моего Героя; и чтобы представить разительно все благородство сердецъ вашихъ, сообщаю здѣсь условія, заключенныя вами между собою въ домѣ отца Леонова и написанныя рукою Прямоушина...

### Договоръ братскаго общества.

„Мы нижеподписавшіеся клянемся честію благородныхъ людей жить и умереть братьями, стоять другъ за друга горю во всякомъ случаѣ, не жалѣть ни трудовъ, ни денегъ для услугъ взаимныхъ, поступать всегда единодушно, наблюдать общую пользу дворянства, вступаться за притѣсненныхъ и помнить Русскую пословицу: *тотъ дворянинъ, кто за многихъ одинъ*; не бояться ни знатныхъ, ни сильныхъ, а только Бога и Государя; смѣло говорить правду Губернаторамъ и Воеводамъ: никогда не быть ихъ прихлебателями, и не такать противъ совѣсти. А кто изъ насъ не сдержитъ своей клятвы, тому будетъ стыдно, и того выключить изъ братскаго общества.“—Слѣдуетъ восемь именъ.

Хотя тайная Хроника говоритъ мнѣ на ухо, что сей дружеской союзъ нашихъ дворянъ заключенъ былъ въ день Леонова рожденія, которое отецъ всегда праздновалъ съ великимъ усердіемъ и съ отпѣвною роскошью (такъ, что посылалъ въ городъ даже за свѣжими лимонами); хотя читатель догадается, что въ такой веселой день, особливо къ вечеру, хозяинъ и гости не могли быть въ обыкновенномъ расположеніи ума и сердца; хотя

Въ восторгахъ Бахуса намъ море по колѣно,  
И съ рюмкою въ рукѣ мы всѣ богатыри;

однакожъ Исторія, которая лжетъ только изъ году въ годъ (первое Апрѣля и еще 29 Февраля), увѣряетъ, что они, проснувшись на другой день, снова читали трактатъ свой, и (что не всегда дѣлаютъ и великія Державы Европейскія) старались исполнять во всей точности. Одна смерть разрушила ихъ братскую связь.... Здѣсь хочется мнѣ заглянуть

впередъ. Долго еще ждать времени; а можетъ быть тогда, въ богатствѣ случаевъ, и забуду сію любезную черту. И такъ скажу... Когда Судьба, нѣсколько времени игравъ Леономъ въ большомъ свѣтѣ, бросила его опять на родину, онъ нашелъ Маіора Громилова, сидящаго надъ больнымъ Прямоушинымъ, который лежалъ въ параличѣ и не владѣлъ руками—(все прочіе друзья ихъ были уже на томъ свѣтѣ). Громиловъ кормилъ больного изъ рукъ своихъ, плакалъ горько и сказалъ Леону: *тошно, тошно быть сиротою на старости!....* Добрые люди! миръ вашему праху! Пусть другіе называютъ васъ дикарями: Леонъ въ дѣтствѣ слушалъ съ удовольствіемъ вашу бесѣду словоохотную, отъ васъ заимствовалъ Русское дружелюбіе, отъ васъ набрался духу Русскаго и благородной дворянской гордости, которой онъ послѣ не находилъ даже и въ знатныхъ боярахъ: ибо спѣсь и высокомеріе не замѣняютъ ее; ибо гордость дворянская есть чувство своего достоинства, которое удаляетъ человѣка отъ подлости и дѣлаетъ презрительныхъ. — Добрые старики! миръ вашему праху!

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

### Мечтательность и склонность къ меланхоліи.

И такъ Леонъ читаетъ книги, отъ времени до времени бѣгаетъ встрѣчать гостей, ѣздитъ иногда и самъ въ гости къ добрымъ провинціаламъ, слушаетъ ихъ разговоры, и проч. Довольно занятія; но еще имѣетъ время задумываться и мечтать. Не смотря на маленькую слабость мою къ романамъ, признаюсь, что ихъ можно назвать теплицею для юной души, которая отъ сего чтенія зрѣетъ прежде времени; а это, естьли вѣрить Философическимъ Медикамъ, бываетъ вредно... по крайней мѣрѣ для здоровья. „Губите себя вашими книгами „и романами!“ восклицаетъ одинъ важный Докторъ: „но „оставьте въ покоѣ недовершенное произведеніе Натуры; не „воспалите воображенія дѣтей; дайте укрѣпиться молодымъ

„нервамъ, и не приводите ихъ въ напряженіе, естли не „хотите, чтобы равновѣсіе жизни разстроилось съ самаго „начала!“ Леонъ на десятомъ году отъ рожденія могъ уже часа по-два играть воображеніемъ и строить замки на воздухѣ. *Опасности и героическая дружба* были любимую его мечтою. Достоинно примѣчанія то, что онъ въ опасностяхъ всегда воображалъ себя *избавителемъ*, а не *избавленнымъ*: знакъ гордаго, славолюбиваго сердца! Герой нашъ *мысленно* летѣлъ во мракѣ ночи на крикъ путешественника, умерщвляемаго разбойниками; или бралъ штурмомъ высокую башню, гдѣ страдалъ въ цѣпяхъ другъ его. Такое Дон-Кихотство воображенія заранѣе опредѣляло нравственный характеръ Леоновой жизни. Вы безъ сомнѣнія не мечтали такъ въ своемъ дѣтствѣ, спокойные Флегматики, которые не живете, а дремлете въ свѣтѣ, и плачете только отъ одной зѣвоты! и вы, благоразумные Эгоисты, которые не *привязываетесь* къ людямъ, а только съ осторожностію за нихъ *держитесь*, пока связь для васъ полезна, и свободно отводите руку, какъ скоро они могутъ чѣмъ нибудь васъ потревожить! Герой мой снимаетъ съ головы маленькую шляпку свою, кланяется вамъ низко и говоритъ учтиво: „Милостивые государи! вы ни- „когда не увидите меня подъ вашими знаменами съ буквою „П и Я!“

Сверхъ того онъ любилъ грустить, не зная, о чемъ. Бѣдной!... Ранняя склонность къ меланхоліи не есть ли предчувствіе житейскихъ горестей?... Голубые глаза Леоновы сіяли сквозь какой-то флеръ, прозрачную завѣсу чувствительности. Печальное сиротство еще усилило это природное расположение ко грусти. Ахъ! самый лучший родитель никогда не можетъ замѣнить матери, нѣжнѣйшаго существа на земномъ шарѣ! Одна женская любовь, всегда внимательная и ласковая, удовлетворяетъ сердцу во всѣхъ отношеніяхъ!... Такимъ образомъ Леонъ былъ приготовленъ Натурою, Судьбою и романами къ слѣдующему.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

### Важное знакомство.

Въ сосѣдствѣ у Капитана Радушина поселился Графъ Мировъ, житель столицы, богатой человѣкъ, который нѣкогда служилъ вмѣстѣ съ нимъ и хотѣлъ возобновить старое знакомство... <sup>1)</sup> Капитанъ пріѣхалъ къ нему вмѣстѣ съ сыномъ. Леонъ въ первый разъ увидѣлъ огромный домъ, множество лакеевъ, пышность, богатое украшеніе комнатъ, и шелъ за отцомъ съ робкимъ видомъ. Не мудрено, что онъ дурно поклонился хозяину, переступалъ съ ноги на ногу, не зналъ, куда глядѣть, куда дѣвать руки. Суровый видъ Графа (человѣка лѣтъ въ пятьдесятъ) еще умножилъ его робость; но взглянувъ на миловидную Графиню, Леонъ ободрился... взглянувъ еще, и вдругъ пережѣнился въ лицѣ: заплакалъ, хотѣлъ скрыть слезы свои, и не могъ. Это удивило хозяевъ; желали знать причину, спрашивали—но онъ молчалъ. Отецъ велѣлъ ему говорить, и тогда Леонъ отвѣчалъ тихимъ голосомъ: „Графиня похожа на матушку.“ Капитанъ посмотрѣлъ—сказалъ: „это правда; извините насъ, милостивая государыня“—и самъ залился горькими слезами. Леонъ все забылъ, и бросился къ нему въ объятія... Графъ былъ холоденъ; но Графиня, не даромъ похожая на мать Леонову, утирала себѣ глаза платкомъ. Обыкновенная блѣдность лица ея покрылась свѣжимъ румянцемъ... О женщины! какое движеніе чувствительности не находитъ въ сердцѣ нашемъ вѣрнаго отзыва?... Леонъ смотрѣлъ на Эмилию (имя Графини) съ трогательною, живѣйшею благодарностію, а Эмилиа на Леопа съ нѣжною ласкою. Все разстояніе между двадцати-пяти-лѣтнею свѣтскою дамою и десяти-лѣтнимъ деревенскимъ мальчикомъ исчезло въ минуту симпатіи... но эта минута обратилась въ часы, дни и мѣсяцы....

<sup>1)</sup> По свидѣтельству одного изъ современниковъ, Карамзинъ говорилъ, что графъ Мировъ — дѣйствительное лицо, которымъ онъ называлъ своего сосѣда по имѣнію, г. Пушкина.

II.

ЦВѢТОКЪ.

НА ГРОБЪ МОЕГО АГАТОНА <sup>1)</sup>.

1793.

His life was gentle, and the elements  
So mix'd in him, that Nature might stand up,  
And say to all the world: *This was a man!*  
*Shakespeare* <sup>2)</sup>.

Нѣтъ Агатона!.. Нѣтъ моего друга! — Читатель! ты не зналъ его—онъ не былъ ни богатъ, ни знатенъ — онъ былъ человѣкъ, благородный по душѣ своей—украшенный одними достоинствами, не чинами, не блескомъ роскоши,—и сии достоинства таились подъ завѣсою скромности.

Но его уже нѣтъ! — Горестная дружба можетъ теперь сказать, чего она лишилась, — о чемъ проливаетъ слезы, и вѣчно проливать будетъ!

Такъ, за долгъ, за самый священный долгъ почитаю сказать всякому нѣжному сердцу, всякому, кто любить человѣчество и кто умѣетъ цѣнить его, что въ нашемъ хладномъ сѣверномъ отечествѣ, гдѣ Природа не весьма щедрою рукою разсыпаетъ благіе дары свои, родился и жилъ такой человѣкъ, котораго душа была бы украшеніемъ самой Греціи, отечества Сократовъ и Платоновъ, благословеннѣйшей страны подъ солнцемъ!

А вы, мрачныя души, вы не можете разумѣть меня. Оставьте печальнаго — оставьте сии безпорядочныя строки, орошаемыя моими слезами! Не для васъ изливаю горестъ

---

<sup>1)</sup> Эта элегія въ прозѣ посвящена памяти безвременно умершаго друга Карамзина—Александра Андреевича Петрова, одного изъ образованнѣйшихъ сотрудниковъ Новиковскаго кружка.

<sup>2)</sup> Жизнь его была такъ прекрасна, всѣ начала такъ соединились въ немъ, что сама природа можетъ выступивъ сказать предъ цѣлымъ міромъ: „Это былъ человѣкъ!“ *Шекспиръ* (слова Антонія о Брутѣ, изъ трагедіи „Юлій Цезарь“).

свою, и не требую вашего одобренія. Когда сердце мое превратится въ камень; когда огонь чувства угаснетъ въ груди моей; когда, забывъ святую истину, паду ницъ предъ златыми кумирами человѣческихъ заблужденій: тогда будете вы друзьями моими; тогда перо мое посвятится вашему удовольствію; тогда удостоите меня благопріятной улыбки своей. Теперь мы чужды другъ другу, и горестъ моя не можетъ васъ тронуть.

Въ самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ жизни нашей мы увидѣли и полюбили другъ друга. Я полюбилъ въ Агатонѣ мудраго юношу, котораго разумъ украшался лучшими занятіями человечества; котораго сердце образовано было нѣжною рукою Музъ и Грацій. Что онъ полюбилъ во мнѣ, не знаю — можетъ быть, пламенное усердіе къ добру, непритворную любовь ко всему изящному, простое сердце, не совсѣмъ испорченное воспитаніемъ,—искренность, нѣкоторую живость, нѣкоторый жаръ, чувства. Я нашелъ въ немъ то, что съ самаго ребячества было пріятнѣйшею мечтою моего воображенія—человѣка, которому могъ я открывать всѣ мнѣнія свои надежды, всѣ тайныя сомнѣнія; которой могъ разсуждать и чувствовать со мною, показывать мнѣ мои заблужденія, и научать меня не повелительнымъ голосомъ учителя, но съ любезною кротостію снисходительнаго друга;—однимъ словомъ, я нашелъ въ немъ сокровище, особливый даръ Неба, который не всякому смертному въ удѣлъ достается—и время нашего знакомства, нашего дружества, будетъ всегда важнѣйшимъ періодомъ жизни моей.

Свѣтъ былъ тогда чуждъ и мнѣ и ему: ему еще болѣе, нежели мнѣ; но мы любили книги, и не думали о свѣтѣ; имѣли не много, немногимъ были довольны, и не чувствовали недостатка. Прелести разума, прелести душевныя казались намъ всего любезнѣе—ими плѣнялись мы, ими въ твореніяхъ великихъ умовъ наслаждались, и не рѣдко за Оссіаномъ, Шекспиромъ, Боннетомъ, просиживали половину зимнихъ ночей. Часто духъ нашъ на крыльяхъ воображенія облеталъ

небесныя пространства, гдѣ Оріонъ и Сиріусъ въ златыхъ вѣнцахъ сіяютъ; тамъ искали мы нѣжныхъ друзей своему сердцу, — и часто заря утренняя красила восточное небо, когда я разставался съ Агатономъ, и возвращался домой съ покойною душою, съ новыми знаніями, или съ новыми идеями.

Естьли когда нибудь осмѣлюсь я слабымъ перомъ своимъ начертать *исторію моихъ мыслей*, тогда опишу, можетъ быть, и нѣкоторыя изъ тѣхъ ночныхъ бесѣдъ, въ которыхъ развивались первыя мои метафизическія понятія; печать молчанія хранить ихъ теперь въ груди моей.

Въ семъ искреннемъ сообщеніи душъ нашихъ приобрѣлъ я и нѣкоторое, *эстетическое чувство*, нужное для любителей Литтературы. Вѣрный вкусъ друга моего (отличавшій съ великою тонкостію посредственное отъ изящнаго, изящное отъ превосходнаго, выученное отъ природнаго, ложныя дарованія отъ истинныхъ) былъ для меня свѣтильникомъ въ Искусствѣ и Поэзіи. Восхищенный красотою цвѣтовъ, растущихъ на семъ полѣ, дерзалъ я иногда младенческими руками образовать нѣчто подобное онымъ, и незрѣлыя свои мысли изливать на бумагу; — онъ былъ первымъ моимъ судьей, и хотя замѣчалъ недостатки, однако же, по снисхожденію и нѣжности своей, ободрялъ меня въ сихъ упражненіяхъ. Ахъ! я жалѣю о томъ человѣкѣ, который занимается Литтературою и не имѣетъ знающаго друга!

Но никогда не хотѣлъ Агатонъ испытывать дарованій своихъ въ собственныхъ сочиненіяхъ. Тихой кругъ читателей нравился ему лучше, нежели заботливое состояніе Автора, котораго спокойствіе нерѣдко зависить отъ людскаго сужденія. Великіе образцы были у него предъ глазами. *Надлежитъ или сравняться съ ними* (думалъ онъ), *или не выходить ни сцену*; первое казалось ему труднымъ и для того онъ молчалъ. Но разные переводы, имъ изданные, доказываютъ, что слогу его былъ превосходенъ.

Одинакіе вкусы могутъ быть при различныхъ свойствахъ души: Агатонъ и я любили *одно*, но любили *различнымъ*

*образомъ. Гдѣ онъ одобрялъ съ спокойною улыбкою, тамъ я восхищался; огненной пылкости моей противопоставлялъ онъ холодную свою разсудительность; я былъ мечтатель, онъ дѣятельный Философъ. Часто, въ меланхолическихъ припадкахъ, свѣтъ казался мнѣ унылъ и противенъ, и часто слезы лились изъ глазъ моихъ; но онъ никогда не жаловался, никогда не вздыхалъ и не плакалъ; всегда утѣшалъ меня, но самъ никогда не требовалъ утѣшенія; я былъ чувствителенъ какъ младенецъ; онъ былъ твердъ, какъ мужъ:—но онъ любилъ мое младенчество такъ же, какъ я любилъ его мужество. Разные тоны составляютъ гармонію, всегда пріятную для слуха; монотонія бываетъ утомительна—и два человѣка, совершенно одинакихъ свойствъ, всего скорѣе наскучаютъ другъ другу.*

Обстоятельства разлучали насъ—онъ писалъ ко мнѣ — и сіи письма (примѣръ чистаго слога и зеркало тихой, стройной души) будутъ всегда храниться близъ моего сердца.

Когда путешествіе сдѣлалось потребностію души моей; когда желаніе видѣть Природу въ великолѣпномъ ея разнообразіи, видѣть тѣхъ великихъ мужей, которыхъ творенія сильно дѣйствовали на мои чувства, превратилось въ совершенную страсть; когда удовлетворяя сему желанію, рѣшился я оставить на время отечество и друзей моихъ: тогда онъ пожертвовалъ на минуту своею твердостію, и слезы покатылись изъ глазъ его. *Спиши, сказалъ онъ, спиши, куда влечетъ тебя стремленіе твоего духа, и возвратись къ намъ благополучно, съ тѣмъ же сердцемъ, съ которымъ отъ насъ ѣдешь!* Мы разстались. Онъ стоялъ на дорогѣ, и смотрѣлъ въ слѣдъ за мною; платокъ долго бѣлѣлся въ рукахъ его.

Великое пространство раздѣляло насъ, но мы не забывали другъ друга. „Воспоминаніе о тебѣ (писалъ онъ ко мнѣ „въ Женеву) есть одно изъ лучшихъ моихъ удовольствій. „Часто нутешествую за тобою по ландкартѣ; расчисляю, „когда куда могъ ты пріѣхать, и сколько гдѣ пробыть; взбираюсь съ тобою на высокія горы, воображаю тебя бродя-

„щаго по прекраснымъ мѣстамъ, или сидящаго въ кабинетѣ  
„какогонибудь Ученаго. Усердно желаю, мой любезный  
„другъ, чтобы вездѣ встрѣчались тебѣ такіе люди, которыхъ  
„знакомство и воспоминаніе возвышало бы удовольствія, на-  
„ходимыя тобою въ наслажденіи прекрасною Природою, и  
„утѣшало бы тебя въ непріятномъ опытѣ, что вездѣ есть  
„зло. Могу себѣ представить, что сей опытъ часто тебя  
„огорчаетъ и приводитъ въ такое грустное расположеніе, въ  
„какомъ я видалъ тебя, живши съ тобою“. Такъ, мой другъ!  
вездѣ есть зло; но

Кто въ мирѣ и любви умѣетъ жить съ собою,  
Тотъ радость и любовь во всѣхъ странахъ найдетъ.

Наконецъ я возвратился — (тотъ же, каковъ поѣхалъ;  
только съ нѣкоторыми новыми опытами, съ нѣкоторыми но-  
выми знаніями, съ живѣйшею способностію чувствовать кра-  
сoty физическаго и нравственнаго міра) — снѣшилъ обнять  
повѣреннаго души моей; воображалъ его пріятное удивленіе,  
его радость... но сердце мое замерло, когда я увидѣлъ Ага-  
тона. Долговременная болѣзнь напечатлѣла знаки изнеможе-  
нія на блѣдномъ лицѣ его; въ тусклыхъ взорахъ изобража-  
лось тѣлесное и душевное разслабленіе; огонь жизни простылъ  
въ его сердцѣ, томномъ и мрачномъ. Едва могъ онъ обра-  
доваться моему пріѣзду, едва могъ пожать руку мою, едва  
слабая, невольная улыбка блеснула на лицѣ его, подобно  
лучу осенняго солнца.

Жаловаться ли намъ на участь бѣднаго, слабого человѣ-  
чества?—Увы! что есть мудрость мудраго, когда паденіе со-  
ломенки можетъ разрушить ее; когда болѣзнь тѣлесная за-  
темняетъ свѣтъ его разума и покрываетъ густымъ мракомъ  
нечувствительности такую душу, въ которой вся Природа  
какъ въ чистомъ ручейкѣ созерцалась!—Горестная мысль! го-  
рестный опытъ!

Пришла весна, и благотѣльные вліянія сего прекраснаго  
времени года возвратили мнѣ друга; бальзамическія испаренія  
зеленѣющихъ травъ освѣжили его томное сердце; вмѣстѣ съ

цвѣтами расцвѣтала душа его, и вмѣстѣ съ нѣжными птенцами слабый духъ его оперялся. Сія весна, сіе лѣто, останутся незабвенными въ моей жизни!

Всегда, всегда будете вы предметомъ благодарной слезы моей, вы, пріятные вечера, проведенные мною въ сообществѣ милаго друга, на зеленыхъ лугахъ, орошаемыхъ тихою рѣкою, хотя не столь славною, какъ Аѳинскій Иллисъ, гдѣ Сократы и Критоны древле бесѣдовали о мудрости, но чистою и прекрасною въ своемъ теченіи! Тамъ, будучи друзьями цѣлому свѣту, разсуждали мы о происшествіяхъ міра, угадывали будущую судьбу человѣчества, радовались и горевали; тамъ вопрошали мы Натуру о великихъ тайнахъ ея—иногда глубокое молчаніе пасмурной ночи, иногда нѣжная пѣснь Филомелы, иногда страшные удары грома были намъ отвѣтомъ ея;—мы благоговѣли, и признавали слабость своего разума.—Естьли обитатели оныхъ сверкающихъ міровъ, которыми усѣяно голубое небо, иногда съ высоты своей взирають на смертныхъ чадъ земли, то конечно и мы удостоились ихъ взоровъ—два юноши, страстно любящіе истину и добродѣтель!

Всякой день, всякой вечеръ были мы вмѣстѣ, какъ будто бы предчувствуя, что сіе лѣто будетъ послѣднимъ лѣтомъ дружбы нашей!—Я спѣшилъ къ нему съ каждою новою книгою, съ каждымъ новымъ твореніемъ ума человѣческаго; онъ спѣшилъ ко мнѣ—съ новыми мыслями, съ новыми догадками, съ новою любезностію.

Осень была для насъ печальна; зимою мы разстались—и разстались навѣки!

Навѣки!—Я обнималъ тебя въ послѣдній разъ, неоцѣненный другъ души моей! въ послѣдній разъ видѣлъ твою чувствительность! Ты любилъ меня—и никогда любовь твоя не была такъ краснорѣчива, какъ въ сію минуту! *Можетъ быть мы скоро увидимся; можетъ быть опять будемъ жить вмѣстѣ*—сказалъ онъ и закрылъ лице свое. Милый другъ! сердце твое конечно предчувствовало, что намъ уже никогда не видѣться въ здѣшней жизни!

Перемена климата, а можетъ быть и чрезвычайная дѣятельность, разстроила его слабое здоровье; онъ занемогъ опасною болѣзнію — страдалъ — томился — ни молодость, ни искусство врачей, ни пламенная молитва дружбы не помогли ему... Онъ скончался!...

Ахъ! для чего не могъ я быть при концѣ твоёмъ, не могъ слышать послѣднихъ словъ, видѣть послѣднихъ взоровъ моего друга? — Ты хладѣлъ въ объятіяхъ смерти, и можетъ быть, никто изъ окружавшихъ тебя не зналъ, какая душа оставляла міръ сей, какой человѣкъ умиралъ въ глазахъ ихъ! Можетъ быть безчувственные люди положили тебя въ гробъ, — безчувственные люди опустили гробъ твой въ землю! — Я хотѣлъ бы оросить слезами то мертвое тѣло, въ которомъ обиталъ безсмертный духъ твой; хотѣлъ бы проститься съ тобою, и со всею горячію дружбы поцѣловать тѣ хладныя уста, изъ которыхъ нѣкогда лились въ грудь мою отрада и утѣшеніе; хотѣлъ бы успокоить тебя и въ самомъ гробѣ, и первымъ весеннимъ цвѣткомъ украсить могилу твою!... Ахъ! на что мы разлучались? Сія немногіе дни, которые оставалось прожить тебѣ въ юдоли смертнаго, протекли бы въ тишинѣ и мирѣ; попеченія любви, старанія дружбы облегчили бы переходъ твой въ вѣчность, и Ангелъ смерти принялъ бы тебя изъ объятій чувствительнаго человѣка!

Онъ умеръ спокойно. *Я говорилъ съ нимъ за два дни до кончины его* (пишетъ ко мнѣ любезный Д\*) *и никогда не перестану удивляться силамъ души его* — а я, за сіе удивленіе, никогда не перестану любить тебя, милой Д\*!

Величественная Натура... или Ты, Котораго назвать не умѣю... Ты, Котораго истинное имя и существо таятся въ непроницаемомъ мракѣ, или — въ неприступномъ свѣтѣ! дерзнетъ ли смертный съ слабымъ, но чистымъ сердцемъ, безъ страха и трепета спросить тебя: почто образовалъ Ты прекрасную душу моего друга, и скрылъ ее на зарѣ утренней, прежде нежели возсіяла она во всей красотѣ своей? Уже ли мудрая рука Твоя ошиблась, и произвела оную не въ свое

время, не въ своемъ мѣстѣ?—Невидимая сила заграждаетъ уста мои—безмолвствую.

Горестъ моя будетъ продолжительна—безконечна! Я имѣю друзей сердца, которые меня любятъ, и мнѣ всего на свѣтѣ милѣе; но духъ мой лишился любезнѣйшаго своего брата и совоспитанника, котораго никто, никто замѣнить не можетъ!

Дражайшій Агатонъ! рука времени не загладитъ образа твоего въ моихъ мысляхъ; всегда, всегда буду вспоминать о незабвенномъ другѣ: ибо память твоя впечатлѣлась въ существо души моей, и слилася съ ея любезнѣйшими идеями и чувствами. Скоро расцвѣтетъ пространный садъ Натуры; скоро птички запоютъ на зеленыхъ вѣтвяхъ—я пойду въ поле; пойду гулять туда, гдѣ гулялъ съ тобою; сяду на томъ мѣстѣ, гдѣ сидѣлъ съ тобою, и подъ шумомъ весеннихъ водопадовъ пролью сладкія слезы. Тамъ, видя радостное обновленіе Природы, буду воображать тебя обновленнаго въ таинственныхъ жилищахъ вѣчности, которыя стали мнѣ извѣстнѣе съ того времени, какъ ты въ оныя преселился—въ жилищахъ, гдѣ непремѣнная весна царствуетъ, и алѣютъ цвѣты неувядаемые; гдѣ ни слезъ, ни вздоховъ; гдѣ мудрые древности, какъ нѣжные братья, бесѣдуютъ съ тобою, и гдѣ нѣкогда встрѣтишь ты и меня съ Ангельскою улыбкою небесной дружбы.

Прости!

Марта 28, 1793 г.

### III.

#### ЧТО НУЖНО АВТОРУ?

1793.

Говорятъ, что Автору нужны таланты и знанія: острый, проникательный разумъ, живое воображеніе и проч. Справедливо: но сего не довольно. Ему надобно имѣть и доброе, нѣжное сердце, еслии онъ хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей; еслии хочетъ, чтобы дарованія его сіяли свѣтомъ немерцающимъ; еслии хочетъ писать для вѣчности

и собирать благословенія народовъ. Творецъ всегда изображается въ твореніи, и часто противъ воли своей. Тщетно думаетъ лицемеръ обмануть читателей, и подъ златою одеждою пышныхъ словъ сокрыть желѣзное сердце; тщетно говорить намъ о милосердіи, состраданіи, добродѣтели! Всѣ восклицанія его холодны, безъ души, безъ жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется изъ его твореній въ нѣжную душу читателя.

Естьли бы Небо надѣлило какого нибудь изверга великими дарованіями славнаго Аруэта <sup>1)</sup>, то, вмѣсто прекрасной Заиры, написалъ бы онъ — карикатуру Заиры. Чистѣйшій, цѣлебный Нектаръ въ нечистомъ сосудѣ дѣлается противнымъ, ядовитымъ питьемъ.

Когда ты хочешь писать портретъ свой, то посмотришь прежде въ вѣрное зеркало: можетъ ли быть лице твое предметомъ искусства, которое должно заниматься однимъ *изящнымъ*, изображать красоту, гармонію, и распространять въ области чувствительнаго пріятныя впечатлѣнія? Естьли творческая Натура произвела тебя въ часъ небреженія, или въ минуту раздора своего съ Красотою: то будь благоразуменъ, не безобразь художниковой кисти, — оставь свое намѣреніе. Ты берешься за перо, и хочешь быть Авторомъ: спроси же у самого себя, наединѣ, безъ свидѣтелей, искренно: *каковъ я?* ибо ты хочешь писать портретъ души и сердца своего.

Уже ли думаете вы, что Геснеръ <sup>2)</sup> могъ бы столь прелестно изображать невинность и добродушіе пастуховъ и пастушекъ, естьли бы сіи любезныя черты были чужды собственному его сердцу?

---

<sup>1)</sup> Защитникъ и покровитель невинныхъ, благодѣтель Каласовой фамиліи, благодѣтель всѣхъ Фернейскихъ жителей, имѣлъ конечно не злое сердце. *Прим. Карамзина.* — Рѣчь идетъ о Вольтерѣ, выступившемъ въ защиту Каласа, протестанта, явившагося жертвою религіознаго фанатизма.

<sup>2)</sup> См. далѣе его сочиненіе „Деревянная нога.“

Ты хочешь быть Авторомъ: читай исторію несчастій рода человѣческаго — и естли сердце твое не обольется кровію, оставь перо,—или оно изобразить намъ хладную мрачность души твоей.

Но естли всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему открыть путь въ чувствительную грудь твою; естли душа твоя можетъ возвыситься до *страсти къ добру*; можетъ питать въ себѣ святое, никакими сферами не ограниченное *желаніе всеобщаго блага*: тогда смѣло призывай богинь Парнассскихъ—онѣ пройдутъ мимо великолѣпныхъ чертоговъ, и посѣтятъ твою смиренную хижину—ты не будешь бесполезнымъ Писателемъ—и никто изъ добрыхъ не взглянетъ сухими глазами на твою могилу.

Слогъ, фигуры, метафоры, образы, выраженія—все сіе трогаетъ и плѣняетъ тогда, когда одушевляешься чувствомъ; естли не оно разгорячаетъ воображеніе Писателя, то никогда слеза моя, никогда улыбка моя не будетъ его наградою.

Отъ чего Жакъ-Жакъ Руссо нравится намъ со всѣми своими слабостями и заблужденіями? Отъ чего любимъ мы читать его и тогда, когда онъ мечтаетъ или запутывается въ противорѣчіяхъ?—Отъ того, что въ самыхъ его заблужденіяхъ сверкаютъ искры страстнаго человѣколюбія; отъ того, что самыя слабости его показываютъ нѣкоторое милое добродушіе.

Напротивъ того многіе другіе Авторы, не смотря на свою ученость и знанія, возмущаютъ духъ мой и тогда, когда говорятъ истину:—ибо сія истина мертва въ устахъ ихъ; ибо сія истина изливается не изъ добродѣтельнаго сердца; ибо дыханіе любви не согрѣваетъ ее.

Однимъ словомъ: я увѣренъ, что дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ Авторомъ.

IV.

ПОЭЗИЯ <sup>1)</sup>).

1787.

Die Lieder der göttlichen Harfenspieler schallen mit Macht, wie beseelend <sup>2)</sup>.  
*Klopstok.*

Едва былъ созданъ міръ огромный, велелѣпный,  
Явился человѣкъ, прекраснѣйшая тварь,  
Предметъ любви Творца, любовію рожденный;  
Явился—весь сей міръ привѣтствуетъ его,  
Въ восторгѣ и любви, единою улыбкой.  
Узрѣвъ соборъ красотъ, и *чувствуя себя*,  
Сей гордый Царь почувствовалъ и Бога,  
Причину бытія—толь живо ощутилъ  
Величіе Творца, Его премудрость, благость,  
Что сердце у него въ гимнъ нѣжный излилось,  
Стремясь летѣть къ Отцу... Поэзія святая!  
Се ты въ устахъ его, въ источникѣ своемъ,  
Въ высокой простотѣ! Поэзія святая!  
Благословляю я рожденіе твое!

Когда ты, человѣкъ, въ невинности сердечной,  
Какъ роза цвѣлъ въ раю. Поэзія тебѣ  
Утѣхою была. Ты пѣлъ свое блаженство,  
Ты пѣлъ Творца его. Самъ Богъ тебѣ внималъ,  
Внималъ, благословлялъ твои святые гимны:  
Гармонія была душою гимновъ сихъ—  
И часто Ангелы въ небесныхъ мелодіяхъ,  
На лирахъ золотыхъ, хвалили пѣснь твою.  
Ты палъ, о человѣкъ! Поэзія упала;  
Но дщерь Небесъ сіяла лѣпотою,

---

<sup>1)</sup> Стих. это важно, какъ характеристика Карамзина со стороны его знакомства, въ то время, съ разнаго рода литературными произведеніями и его эстетическихъ взглядовъ.

<sup>2)</sup> Пѣсни божественныхъ арфистовъ звучать мощно, какъ одушевленные.  
*Клопштокъ.*

Когда несчастный, вдругъ раскаяся въ грѣхѣ,  
Молитвы воспѣвалъ—сидя на бережку  
Журчащаго ручья и слезы проливая,  
Въ уныніи, въ тоскѣ тебя воспоминалъ,  
Тебя, Эдемскій садъ! Почасту мудрый старецъ  
Среди сыновъ своихъ, внимающихъ ему,  
Согласно, важно пѣлъ таинственныя пѣсни,  
И юныхъ научалъ преданіямъ отцевъ.  
Бывало иногда, что Ангелъ ниспускался  
На землю, какъ эиръ, и смертныхъ наставлялъ  
Въ Поэзіи святой, небесною рукою  
Настроивъ лиры имъ—

Живѣе чувства выражались,  
Звучнѣе пѣсни раздавались,  
Быстрѣе мчались къ Творцу.

Столѣтія текли, и въ вѣчность погружались—  
Поэзія всегда отрадою была  
Невинныхъ чистыхъ душъ. Число ихъ уменьшалось;  
Но гимнъ Царю Царей вовѣкъ не умолкалъ—  
И въ самый страшный день, когда пылало небо  
И бурныя моря кипѣли на земли,  
Среди пучинъ и безднъ, съ невиннѣйшимъ семействомъ  
(Когда погибло все) Поэзія спаслась.  
Святой языкъ небесъ не рѣдко унижался,  
И смертные, забывъ великаго Отца,  
Хвалили вещество, бездушныя планеты!  
Но былъ избранный родъ, который въ чистотѣ  
Поэзію хранилъ, и ею просвѣщался.  
Такъ славный, мудрый Бардъ, древнѣйшій изъ Пѣвцовъ <sup>1)</sup>,  
Со всею красотой священной сей науки  
Воспѣлъ, какъ міръ истекъ изъ воли Божества.  
Такъ онъ Мужъ святой, въ грядущее проникшій,  
Пѣлъ міру часть его. Такъ царственный Поэтъ <sup>2)</sup>,

<sup>1)</sup> Моисей.

<sup>2)</sup> Царь Давидъ.

Родившись пастухомъ, но въ духѣ просвѣщенный,  
Игралъ хвалы Творцу, и пѣснью своей  
Народы восхищалъ. Такъ въ храмѣ Соломона  
Гремѣла БОГУ пѣснь!

Во всѣхъ, во всѣхъ странахъ Поэзія святая  
Наставницей людей, ихъ щастіемъ была;  
Вездѣ она сердца любовью согрѣвала.  
Мудрецъ, Натуру зная, позналъ ея Творца,  
И слыша гласъ Его и въ громахъ и зефирахъ,  
Въ лѣсахъ и на водахъ, на арфѣ подражалъ  
Аккордамъ Божества, и гласъ сего Поэта  
Всегда былъ Божій гласъ!

Орфей, Фракійскій мужъ <sup>1)</sup>, котораго вся древность  
Едва не Богомъ чтить, Поэзіей смягчилъ  
Сердца лѣсныхъ людей, воздвигнулъ Богу храмы,  
И дикихъ научилъ Всесильному служить.  
Онъ пѣлъ имъ красоту Натуры, мірозданья;  
Онъ пѣлъ имъ тотъ законъ, который въ естествѣ  
Разумнымъ окомъ зримъ; онъ пѣлъ имъ что вѣка,  
Достоинство его и важный санъ; онъ пѣлъ,

И звѣри дикіе сбѣгались,  
И птицы стаями слетались  
Внимать гармоніи его;  
И рѣки съ шумомъ устремлялись,  
И вѣтры быстро обращались  
Туда, гдѣ мчался гласъ его.

Омиръ <sup>2)</sup> въ стихахъ своихъ описывалъ Героевъ—  
И пылкій юный Грекъ, вникая въ пѣснь его,  
Въ восторгѣ восклицалъ: *Я буду Ахиллесомъ!*  
*Я кровь свою пролью, за Грецію умру!*  
Дивиться ли теперь геройству Александра <sup>3)</sup>?

---

<sup>1)</sup> Орфей — греч. пѣвецъ мифическихъ временъ, очаровывалъ своими пѣснями звѣрей, деревья и скалы.

<sup>2)</sup> Гомеръ.

<sup>3)</sup> Александра Македонскаго.

Омира онъ читаль, Омира онъ любилъ.—  
Софокль и Эврипидъ учили на театрѣ,  
Какъ душу возвышать, и полубогомъ быть.  
Біонъ и Теокритъ и Мосхось <sup>1)</sup> воспѣвали  
Пріятность сельскихъ сценъ, и слушатели ихъ  
Плѣнялись красотой Природы безъ искусства,  
Пріятностью села. Когда Омиръ поетъ,  
Всякъ воинъ, всякъ Герой; внимая Теокриту,  
Оружіе кладутъ—Герой теперь пастухъ!  
Поззіи сердца, всѣ чувства—все подвластно.

Какъ Сиріусъ блеститъ свѣтлѣе прочихъ звѣздъ,  
Такъ Августовъ Поэтъ, такъ пастырь Мантуанскій <sup>2)</sup>  
Сіялъ въ тебѣ, о Римъ! среди твоихъ пѣвцевъ.  
Онъ пѣлъ, и всякой мнилъ, что слышитъ гласъ Омира;  
Онъ пѣлъ, и всякой мнилъ, что сельскій Теокритъ  
Еще не умиралъ, или воскресъ въ семъ Бардѣ.  
Овидій воспѣвалъ начало всѣхъ вещей,  
Златый блаженный вѣкъ, серебряный и мѣдный,  
Желѣзный наконецъ, несчастный, страшный вѣкъ,  
Когда Гиганты, родъ надменный и безумный,  
Собравъ громады горъ, хотѣли вознестись  
Къ престолу Божества; но Тотъ, Кто громомъ править,  
Погребъ ихъ въ сихъ горахъ <sup>3)</sup>.

Британнія есть мать Поэтовъ величайшихъ.  
Древнѣйшій Бардъ ея, Фингаловъ мрачный сынъ <sup>4)</sup>,  
Оплакивалъ друзей, Героевъ, въ битвѣ падшихъ,  
И тѣни ихъ къ себѣ изъ гроба вызывалъ.  
Какъ шумъ морскихъ валовъ, носяся по пустынямъ  
Далеко отъ береговъ, уныніе въ сердцахъ

---

<sup>1)</sup> Мосхось — греч. идиликъ III в. до Р. Х.

<sup>2)</sup> Вергилій, авторъ „Энеиды“.

<sup>3)</sup> Сочинитель говоритъ только о тѣхъ поэтахъ, которые наиболѣе трогали и занимали его душу, въ то время, какъ сія піеса была сочиняема. (Прим. Кар.).

<sup>4)</sup> Оссіанъ бардъ III вѣка, сынъ Фингала.

Внимающихъ родитъ: такъ пѣсни Оссіана,  
Нѣжнѣйшую тоску вливая въ томный духъ,  
Настраивають насъ къ печальнымъ представленьямъ;  
Но скорбь сія мила и сладостна душѣ.  
Великъ ты, Оссіанъ, великъ, неподражаемъ!

Шекспиръ, Натуры другъ! кто лучше твоего  
Позналъ сердца людей? Чья кисть съ такимъ искусствомъ  
Живописала ихъ? Во глубинѣ души  
Нашелъ ты ключъ ко всѣмъ великимъ тайнамъ рока,  
И свѣтомъ своего безсмертнаго ума  
Какъ солнцемъ озарилъ пути ночные въ жизни!—  
„Всѣ башни, коихъ верхъ скрывается отъ глазъ  
„Въ туманѣ облаковъ; огромные чертоги  
„И всякой гордой храмъ исчезнуть, какъ мечта—  
„Въ теченіе вѣковъ и мѣста ихъ не сыщемъ“—  
Но ты, великій Мужъ, пребудешь незабвенъ <sup>1)</sup>.

Мильтонъ <sup>2)</sup>, высокій Духъ, въ гремящихъ страшныхъ  
пѣсняхъ

Описываетъ намъ бунтъ, гибель Сатаны;  
Онъ душу веселитъ, когда поетъ Адама  
Живущаго въ раю; но голосъ ниспустивъ,  
Вдругъ слезы изъ очей ручьями извлекаетъ,  
Когда поетъ его подпаднаго грѣху.

О Йонгъ <sup>3)</sup>, несчастныхъ другъ, несчастныхъ утѣшитель!

---

<sup>1)</sup> Самъ Шекспиръ сказалъ:

The cloud cup'd towers, the gorgeous palaces,  
The solemn temples, the great globe itselfe.  
Yes, all which it inherits, shall dissolve,  
And, like the baseless fabric of a vision,  
Leave not a wreck behind.

Какая священная меланхолія вдохнула въ него сіи стихи? (*пр. Кар.*).

<sup>2)</sup> Мильтонъ (1608 — 1674) — знаменитый англійскій поэтъ, авторъ поэмы „Потерянный рай“.

<sup>3)</sup> Едвардъ Юнгъ (1684 — 1765) — англійскій поэтъ, авторъ „Ночей“ (Night-thoughts, 1741).

Ты бальзамъ въ сердце льешь, сушишь источникъ слезъ,  
И съ смертію друга, дружишь ты насъ и съ жизнью!—

Природу возлюбивъ, Природу разсмотрѣвъ,  
И вникнувъ въ кругъ временъ, въ тончайшія ихъ тѣни,  
Намъ Томсонъ <sup>1)</sup> возгласилъ Природы красоту,  
Пріятности временъ. Натуры сынъ любезный,  
О Томсонъ! вѣкъ тебя я буду прославлять!  
Ты выучилъ меня Природой наслаждаться  
И въ мрачности лѣсовъ хвалить Творца ея!

Альпійскій Теокритъ <sup>2)</sup>, сладчайшій Пѣснопѣвецъ!  
Еще друзья твои въ печали слезы льютъ—  
Еще зеленый мохъ не видѣнъ на могилѣ,  
Скрывающей твой прахъ! Въ восторгѣ пѣлъ ты намъ  
Невинность, простоту, пастушескіе нравы,  
И нѣжныя сердца свирѣлю восхищаль.  
Сію слезу мою, текущую столь быстро,  
Я въ жертву приношу тебѣ, Астрейнъ другъ!  
Сердечную слезу и вздохъ и пѣснь Поэта,  
Любившаго тебя, прими, благослови,  
О Духъ, блаженный Духъ, здѣсь въ Геснерѣ блиставшій <sup>3)</sup>!

Несяся на крылахъ превысреннихъ орловъ,  
Которые Пѣвцевъ Божественныя Славы  
Мчатъ въ вышніе міры, да тему почерпнуть  
Для гимна своего, Пѣвецъ избранный Клопштокъ  
Вознесся выше всѣхъ, и тамъ, на небесахъ,  
Былъ тайнамъ наученъ, и той великой тайнѣ,  
Какъ Богъ сталъ человѣкъ. Потомъ воспѣлъ онъ намъ  
Начало и конецъ Мессіинныхъ страданій,  
Спасеніе людей. Онъ Богомъ вдохновенъ—  
Кто сердцемъ всѣмъ еще привязанъ къ плоти, къ міру,  
Того языкъ нѣмѣй, и пѣсней толь святыхъ  
Не оскверняй хвалою; но вы, святые Мужи,

---

<sup>1)</sup> Поэма Томсона „Времена года“.

<sup>2)</sup> Геснеръ.

<sup>3)</sup> Сія стихи прибавлены послѣ (пр. Кар.).

Въ которыхъ уже гласъ земныхъ страстей умолкъ,  
Въ которыхъ мрака нѣтъ! вы чувствуете цѣну  
Того, что Клопштокъ пѣлъ, и можете одни,  
Во глубинѣ сердецъ, хвалить сего Поэта!  
Такъ старецъ, отходя въ блаженнѣйшую жизнь,  
Въ восторгѣ произнесъ: о *Клопштокъ несравненный!* <sup>1)</sup>  
Еще великій Мужъ собою красить міръ—  
Еще великій Духъ земли сей не оставилъ.  
Но нѣтъ! онъ въ небесахъ уже давно живетъ—  
Здѣсь тѣнь мы зримъ сего священнаго Поэта.

О Россія! вѣкъ грядетъ, въ который и у васъ  
Поэзія начнетъ сіять, какъ солнце въ полдень.  
Исчезла ночи мгла—уже Авроры свѣтъ  
Въ \*\*\*\* блеситъ, и скоро всѣ народы  
На сѣверъ притекутъ свѣтильникъ возжигать,  
Какъ въ басняхъ Прометей текъ къ огненному Фебѣ,  
Чтобъ хладный, темный міръ согрѣть и освѣтить.

Доколѣ міръ стоитъ, доколѣ человѣки  
Жить будутъ на землѣ, дотолѣ дщери Небесъ,  
Поэзія, для душъ чистѣйшихъ благомъ будетъ.  
Доколѣ я дышу, дотолѣ буду пѣть,  
Поэзію хвалить и ею утѣшаться.

Когдажъ умру, засну, и снова пробужусь:

Тогда, въ восторгахъ погружаясь,  
И вѣчно, вѣчно наслаждаясь,  
Я буду гимны пѣть Творцу,  
Тебѣ, мой Богъ, Господь всесильный,  
Тебѣ, любви источникъ дивный,  
Узрѣвъ тамъ все лицомъ къ лицу!

---

<sup>1)</sup> Я читалъ объ этомъ въ одномъ Нѣмецкомъ Журналѣ (пр. Карамз.).

## ИЗБРАННЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

### I.

#### ДЕРЕВЯННАЯ НОГА<sup>1)</sup>.

ШВЕЙЦАРСКАЯ ИДИЛЛІЯ.

С. ГЕСНЕРА.

На горѣ, съ коей текущей источникъ своими струями орошалъ близъ лежащую долину, пасъ молодой пастухъ своихъ козъ. Ехо его свирели распространялось по всей долинѣ, и производило пріятной шумъ. Тутъ увидѣлъ онъ стараго и сѣдинами украшеннаго человѣка всходящаго на поверхность горы, которой опираясь о свой посохъ, ибо одна его нога была деревянная, тихими шагами къ нему приближался, и сѣлъ возлѣ его на одномъ камнѣ. Молодой пастухъ смотрѣлъ на него съ удивленіемъ, и устремилъ взоръ свой на его поддѣланную ногу. Юноша, сказалъ ему съ усмѣшкой старикъ, ты конечно думаешь, что я безразсудно поступаю всходя на сію гору? Сіе путешествіе изъ долины дѣлаю я каждой годъ одинъ разъ. Нога, которую ты у меня видишь, приноситъ мнѣ болѣе чести, нежели иному двѣ цѣлыя; а почему? ты долженъ оное узнать. Пусть оно почтительно, старичокъ, сказалъ пастухъ; но я объ закладъ бьюсь, что одно другаго лучше. Но ты, думаю, усталъ. Если хочешь, то я пойду и принесу тебѣ свѣжей воды изъ сей стремнины текущаго ручья.

---

<sup>1)</sup> Помѣщается здѣсь вполнѣ, какъ первый печатный трудъ Карамзина. Саломонъ Геснеръ (1730—1787) одинъ изъ послѣдователей Клопштока (1724—1803). Въ свое время онъ считался главнымъ представителемъ „поэтовъ природы“ (Naturdichter), которые развили одинъ изъ элементовъ Клопштоковой поэзіи—мистическое поклоненіе природѣ. Общія черты этой поэзіи — мечтательное погруженіе въ природу, влеченіе къ миру и счастью, которое понималось, какъ противоположность цивилизации и утонченной жизни. Главное достоинство идиллій Геснера—легкая и граціозно-текущая проза; недостатокъ же—искусственность и слащавая сентиментальность.

Старикъ. Ты услужливой мальчикъ; свѣжая вода приведетъ ослабшіе мои силы въ прежней порядокъ. Поди, и принеси оной, а послѣ расскажу я тебѣ исторію о моей деревянной ногѣ. Молодой пастухъ побѣждалъ къ ручью, и тотчасъ возвратился съ водой.

Старикъ ободрился и началъ: потеряніе нѣкоторыхъ изъ васъ своихъ отцевъ, коихъ память должна пребыть незабвенна въ вашихъ сердцахъ, сдѣлало, что вы вмѣсто того ходили повѣсь голову, страдая подъ игомъ рабства, взираете нынѣ съ радостію на восходящее солнцѣ, и утѣшительныя пѣніи распространяются по всюду. Радость и удовольствіе царствуютъ теперь въ сей долині, и эхо свирелей распространяется отъ одной горы до другой. Вольность, сія дражайшая вольность дѣлаетъ счастливой всю сію страну. Что мы видѣмъ, гора и долина, принадлежитъ намъ; съ радостію созидаемъ мы нашу собственность, и создавши безпрепятственно оной пользуемся.

Молодой пастухъ. Тотъ недостойнъ быть вольнымъ челоукомъ, которой позабудетъ, что наши отцы проливая кровь свою оную намъ доставили.

Старикъ. Ты разумно разсуждаешь, мой сынъ! со времени того кровопролитнаго дня, возхожу я всякой годъ одинъ разъ изъ долины на сію высоту; но чувствую уже, что сіе будетъ въ послѣдней. Откуда вижу я весь порядокъ битвы, кою мы за нашу вольность выиграли <sup>1)</sup>: смотри! на сей сторонѣ находилось непріятельское войско; многіе тысячи копій тамъ блистали, и около двухъ сотъ всадниковъ: шлемы ихъ были украшены перьями, и земля колебалась отъ топанія ихъ коней. Уже нѣсколько разъ была разсѣваема наша толпа; только оставалось не болѣе ста. По всюду распространялись вопли, и густой дымъ покрывалъ всю долину. У подошвы горы находился нашъ начальникъ; онъ стоялъ подлѣ сей ели; малое только число находилось округъ его. Я кажется и теперь его

---

<sup>1)</sup> Сраженіе при Нефельсѣ, въ Кантонѣ Гларусѣ, происшедшее въ 1888 году. (*Прим. Карамз.*).

мужественно стоящаго тутъ вижу, какъ собираетъ онъ остатки нашихъ; мечъ его сверкалъ подобно молніи; со всѣхъ сторонъ собирались разсѣянные. Видишь ли ты въ низу сей горы тѣ ручьи? камни, стремнины, и ниспадшіе дерева пусть будутъ непріатели; посмотри съ какимъ стремленіемъ они сквозь ихъ пробиваются, и пробившись соединяются въ томъ прудѣ; такъ оное происходило. Съ толикою поспѣшностію собирались разсѣянные; окруживши сего Героя, мы клялись передъ богами умереть или побѣдить! уже одиннадцать разъ мы дѣлали нападеніи, и послѣ опять принуждены были отступать къ защищаемой нами горѣ. Тутъ стояли мы неподвижно, подобно камнямъ позади насъ находящимся: но вдругъ, подкрѣплены будучи тридцатью храбрыми Швейцарами, кинулись мы на непріателя, подобно валящейся горѣ или камню пущенному съ верху въ лѣсъ, которой все что только предполагается его паденію въ дребезги разшибаетъ. Непріатели наши, состоящіе въ пѣхотѣ и конницѣ, пришли въ крайней безпорядокъ, и поражали другъ друга, стараясь избѣгнуть нашей ярости. Нами столь овладѣло свирепство, что все попадающееся безпощадно убивали. Въ самое сіе время одинъ изъ непріательской конницы повергъ меня на землю, и своею лошадыю раздробилъ мнѣ ногу. Сражавшайся подлѣ увидя меня въ такомъ положеніи, поднялъ на свои плеча, и вынесъ изъ мѣста сраженія. Благочестивой монахъ приносилъ свои молитвы Всевышнему, стоя на одномъ камнѣ, о дарованіи намъ побѣды: избавитель мой препоручая меня его старанію, сказалъ: батюшка онъ бился какъ герой! Выговоря сіе возвратился онъ опять на сраженіе. Оно было выиграно, нѣсколько изъ насъ лежали распростершись на кучѣ мертвыхъ непріателей, подобно утомленному жнецу, покоющемуся на снопахъ, кои онъ самъ жалъ. Послѣ я вылечился, но избавителя моего, коему я обязанъ жизнью, не знаю. Тщетно было мое стараніе его найти; всуе дѣлалъ я обеты, и посещалъ многія святыя мѣста, думая что можетъ быть мнѣ его откроетъ какой ни-

будь Святой или Ангель. Но ахъ все было тщетно! и я не могу его возблагодарить въ сей жизни.

Молодой пастухъ слушалъ его съ глазами наполненными слезъ, и сказалъ: подлинно уже не можешь ты оказать ему своей благодарности въ сей жизни. Какъ что ты говоришь, съ удивленіемъ воскликнулъ старикъ, развѣ ты знаешь, кто онъ былъ?

Молодой пастухъ. Есть ли я не обманываюсь, то это былъ самъ мой батюшка. Часто рассказывалъ онъ мнѣ о семъ сраженіи, и притомъ говорилъ: живѣ-ли еще тотъ мужъ, которой подлѣ меня столь храбро сражался, и коего я вынесъ изъ мѣста, гдѣ происходило кровопролитіе!

Старикъ. О Боже! и такъ избавитель мой былъ твой отецъ?

Молодой пастухъ. Здѣсь у него былъ знакъ; (указывая на лѣвую щеку) онъ уязвленъ былъ копьемъ, можетъ быть онъ тебя вынесъ изъ сраженія.

Старикъ. Щека его была окровавлена, когда онъ меня несъ. О дитя мое, о сынъ мой!

Молодой пастухъ. Года уже съ два, какъ онъ умеръ; я теперь стерегу, понеже онъ былъ бѣденъ, за малую цѣну сихъ козъ.

Старикъ его обнялъ. Слава Всевышнему, и такъ я могу возплатить его благодареніе на тебѣ! пойдемъ сынъ, пойдемъ въ мое жилище, пусть другой будетъ пасти сихъ козъ. Они сошли въ долину, гдѣ было его обитаніе. Старикъ имѣлъ съ излишествомъ земли и стада, и прекрасная дочь была его одна наслѣдница.

Тотъ человѣкъ, сказалъ онъ своей дочерѣ, которой избавилъ меня отъ смерти, былъ отецъ сего юноши. Будешь ли мнѣ послушна, и дашь ли ему свою руку. Пастухъ былъ прекрасенъ; русые волосы извивались кругъ его румянаго лица, и жаромъ наполненные черные глаза въ ономъ блитали. Неотступая она отъ девической кротости, размышляла о ономъ три дня; и третей день показался уже ей дологъ. Они соче-

тались бракомъ, и старикъ, плача отъ радости, сказалъ: да  
будетъ за всегда на васъ благословеніе Вышняго! въ сію ми-  
нуту, въ сію минуту я несчастливѣйшей человѣкъ!

## II.

### ГРАФЪ ГВАРИНОСЪ.

ДРЕВНЯЯ ГИСПАНСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПѢСНЯ.

Худо, худо, ахъ Французы!  
Въ Ронцевалѣ было вамъ!  
Карль Великой тамъ лишился  
Лучшихъ рыцарей своихъ.

И Гвариносъ былъ пойманъ  
Многимъ множествомъ враговъ;  
Адмирала вдругъ плѣнили  
Семь Арабскихъ Королей.

Семь разъ жеребей бросаютъ  
О Гвариносъ Цари;  
Семь разъ сряду достается  
Марлотесу онъ на часть.

Марлотесу онъ дороже  
Всей Аравіи большой.  
„Ты послушай, что я молвлю,  
О Гвариносъ!“ онъ сказалъ:

„Ради Аллы, храбрый воинъ,  
Нашу вѣру пріими!  
Все возьми, чего захочешь,  
Что приглянется тебѣ.

Дочерей моихъ обѣихъ  
Я Гвариносу отдамъ;  
На любой изъ нихъ женися,  
А другую такъ возьми,

„Чтобъ Гвариносу служила,  
Мыла, шила на него.  
Всю Аравію приданымъ  
Я за дочерью отдамъ“.

Тутъ Гвариносъ слово молвилъ:  
Марлотесу онъ сказалъ:  
„Сохрани Господь небесный  
И Марія, Мать Его,

„Чтобъ Гвариносъ, Христіанинъ,  
Магомету послужилъ!  
Ахъ! во Франціи невѣста  
Дорогая ждетъ меня!“

Марлотесъ, пришедши въ ярость,  
Грознымъ голосомъ сказалъ:  
„Вмигъ Гвариноса окуйте,  
Нечестиваго раба;

„И въ темницу преисподню  
Засадите вы его.  
Пусть гніетъ тамъ понемногу,  
И умретъ какъ бѣдный червь!

„Цѣпи тяжки, въ семь сотъ фунтовъ,  
Возложите на него,  
Отъ плеча до самой шпоры—  
Страшенъ въ гнѣвъ Марлотесъ!

„А когда настанетъ праздникъ,  
Пасха, Святки, Духовъ день,  
Въ кровь тогда его сѣките  
Предъ глазами всѣхъ людей“.

Дни проходятъ, дни приходятъ  
И насталь Ивановъ день;

Христіане и Арабы  
Вмѣстѣ празднуютъ его.

Христіане сыплютъ галгантъ <sup>1)</sup>;  
Мирты мечетъ всякой Мавръ <sup>2)</sup>.  
Въ почестъ празднику заводитъ  
Разны игры Марлотесь,

Онъ высоко цѣль поставилъ,  
Чтобъ попастьъ въ нее копьемъ.  
Всѣ свои бросаютъ копья,  
Всѣ Арабы мѣтятъ въ цѣль.

Ахъ, напрасно! нѣтъ удачи!  
Цѣль для слабыхъ высока.  
Марлотесь велѣлъ во гнѣвъ  
Черезъ Герольда объявить:

„Дѣтямъ груди не сосати,  
А большимъ ни пить, ни ѣсть,  
Естьли цѣли сей на землю  
Кто изъ Мавровъ не сшибетъ!

И Гвариносъ шумъ услышалъ  
Въ той темницѣ, гдѣ сидѣлъ.  
„Мать Святая, чиста Дѣва!  
Что за день такой припелъ?

„Не Король ли нынѣ вздумалъ  
Выдать за-мужъ дочь свою?  
Не меня ли сѣчь жестоко  
Часть презлой теперь насталь?“

Стражъ темничный то подслушалъ.  
„О Гвариносъ! свадьбы нѣтъ,

---

<sup>1)</sup> Индѣйское растеніе. .

<sup>2)</sup> Въ день Св. Іоанна Гишпанцы усыпали улицы галгантомъ и миртами.

Нынѣ сѣчь тебя не будутъ;  
Трубный звукъ не то гласить....

„Нынѣ праздникъ Іоанновъ;  
Всѣ Арабы въ торжествѣ.  
Всѣмъ Арабамъ на забаву  
Марлотесь поставилъ цѣль.

„Всѣ Арабы копья мечутъ,  
Но не могутъ въ цѣль попасть;  
По чему Король во гнѣвѣ  
Черезъ Герольда объявилъ:

„Пить и ѣсть никто не можетъ,  
Буде цѣли не сшибутъ“.  
Тутъ Гвариносъ встрепенулся;  
Слово молвилъ онъ сіе:

„Дайте мнѣ коня и сбрую,  
Съ коей Карлу я служилъ;  
Дайте мнѣ копье булатно,  
Коемъ я враговъ разилъ.

„Цѣль тотчасъ сшибу на землю,  
Сколь она ни высока.  
Естьли жъ я сказалъ неправду,  
Жизнь моя у васъ въ рукахъ“.

„Какъ! на то тюремщикъ молвилъ:  
Ты семь лѣтъ въ тюрьмѣ сидѣлъ,  
Гдѣ другіе больше года  
Не могли никакъ прожить;

„И еще ты думать можешь,  
Что сшибешь на землю цѣль?—  
Я пойду сказать Инфанту,  
Что теперь ты говорилъ“.

Скоро, скоро поспѣшаетъ  
Стражъ темничный къ Королю;  
Приближается къ Инфанту,  
И приносить вѣсть ему;

„Знай, Гваринось Христіанинъ,  
Что въ тюрьмѣ семь лѣтъ сидитъ,  
Хочетъ цѣль спибить на землю,  
Естьли дать ему коня“.

Марлотесь, сіе услышавъ,  
За Гвариносомъ послалъ;  
Царь не думалъ, чтобъ Гваринось  
Могъ еще конемъ владѣть.

Онъ велѣлъ принести всю сбрую  
И коня его сыскать.  
Сбруя ржавчиной покрыта,  
Конь возилъ семь лѣтъ песокъ.

„Ну, ступай!“ сказалъ съ насмѣшкой  
Марлотесь, Арабской Царь:  
„Покажи намъ, храбрый воинъ,  
Какъ сильна рука твоя!“

Такъ какъ буря разъяренна,  
Къ цѣли мчится сей Герой;  
Мечетъ онъ копьё булатно—  
На землѣ вдругъ цѣль лежитъ.

Всѣ Арабы взволновались,  
Мечутъ копьё всѣ въ него;  
Но Гваринось, воинъ смѣлый,  
Храбро ихъ мечемъ сѣчетъ.

Солнца свѣтъ почти затмился  
Отъ великаго числа

Тѣхъ, которые стремились  
На Гвариноса всѣ вдругъ.

Но Гвариносъ ихъ разсѣялъ,  
И до Франціи достигъ,  
Гдѣ всѣ Рыцари и Дамы  
Съ честью приняли его.

1789 г.

### III.

#### БѢДНАЯ ЛИЗА.

##### Повѣсть.

Можетъ быть никто изъ живущихъ въ Москвѣ не знаетъ такъ хорошо окрестностей города сего, какъ я, потому что никто чаще моего не бываетъ въ полѣ, никто болѣе моего не бродитъ пѣшкомъ, безъ плана, безъ цѣли — куда глаза глядятъ — по лугамъ и рощамъ, по холмамъ и равнинамъ. Всякое лѣто нахожу новыя пріятныя мѣста, или въ старыхъ новыя красоты.

Но всего пріятнѣе для меня то мѣсто, на которомъ выпадаютъ мрачныя, готическія башни Симонова монастыря. Стоя на сей горѣ, видишь на правой сторонѣ почти всю Москву, сію ужасную громаду домовъ и церквей, которая представляется глазамъ въ образѣ величественнаго амфитеатра: великолѣпная картина, особливо когда свѣтитъ на нее солнце; когда вечерніе лучи его пылаютъ на безчисленныхъ золотыхъ куполахъ, на безчисленныхъ крестахъ, къ небу возносящихся! Внизу разстилаются тучныя, густозеленныя, цвѣтушіе луга; а за ними, по желтымъ пескамъ, течетъ свѣтлая рѣка, волнуемая легкими веслами рыбацкихъ лодокъ, или шумящая подъ рулемъ грузныхъ струговъ, которые плывутъ отъ плодороднѣйшихъ странъ Россійской Имперіи и надѣляютъ алчную Москву хлѣбомъ. На другой сторонѣ рѣки видна дубовая роща, подлѣ которой пасутся многочисленные стада; тамъ молодые пастухи, сидя подъ тѣнію деревьевъ,

поютъ простыя, унылыя пѣсни и сокращаютъ тѣмъ лѣтніе дни, столь для нихъ единообразные. Подалѣе, въ густой зелени древнихъ вязовъ, блистаетъ златоглавый Даниловъ монастырь; еще далѣе, почти на краю горизонта, синѣются Воробьевы горы. На лѣвой же сторонѣ видны обширныя, хлѣбомъ покрытыя поля, лѣсочки, три или четыре деревеньки, и вдали село Коломенское съ высокимъ Дворцомъ своимъ.

Часто прихожу на сіе мѣсто, и почти всегда встрѣчаю тамъ весну; туда же прихожу и въ мрачные дни осени, горевать вмѣстѣ съ Природою. Страшно воютъ вѣтры въ стѣнахъ опустѣвшаго монастыря, между гробовъ, заросшихъ высокою травою, и въ темныхъ переходахъ келлій. Тамъ, опершись на развалины грозныхъ камней, внимаю глухому стону временъ, бездною минувшаго поглощенныхъ—стону, отъ котораго сердце мое содрогается и трепещетъ. Иногда вхожу въ келліи, и представляю себѣ тѣхъ, которые въ нихъ жили—печальныя картины! Здѣсь вижу сѣдаго старца, преклонившаго колѣна передъ Распятіемъ, и молящагося о скоромъ разрѣшеніи земныхъ оковъ своихъ: ибо всѣ удовольствія исчезли для него въ жизни, всѣ чувства его умерли, кромѣ чувства болѣзни и слабости. Тамъ юный монахъ—съ блѣднымъ лицомъ, съ томнымъ взоромъ—смотритъ въ поле сквозь рѣшетку окна, видитъ веселыхъ птичекъ, свободно плавающихъ въ морѣ воздуха—видитъ, и проливаетъ горькія слезы изъ глазъ своихъ. Онъ томится, вянетъ, сохнетъ—и унылый звонъ колокола возвѣщаетъ мнѣ безвременную смерть его. Иногда на вратахъ храма разсматриваю изображеніе чудесъ, въ семь монастырѣ случившихся—тамъ рыбы падаютъ съ неба для насыщенія жителей монастыря, осажденнаго многочисленными врагами; тутъ образъ Богоматери обращаетъ неприятелей въ бѣгство. Все сіе обновляетъ въ моей памяти исторію нашего отечества—печальную исторію тѣхъ временъ, когда свирѣпыя Татары и Литовцы огнемъ и мечемъ опустошали окрестности Россійской столицы, и когда несчастная

Москва, какъ беззащитная вдовица, отъ одного Бога ожидала помощи въ лютыхъ своихъ бѣдствіяхъ.

Но всего чаще привлекаетъ меня къ стѣнамъ Симонова монастыря — воспоминаніе о плачевной судьбѣ Лизы, бѣдной Лизы. Ахъ! я люблю тѣ предметы, которые трогаютъ мое сердце и заставляютъ меня проливать слезы нѣжной скорби!

Саженьхъ въ семидесяти отъ монастырской стѣны, подлѣ березовой рощицы, среди зеленого луга, стоитъ пустая хижина, безъ дверей, безъ окончинъ, безъ полу; кровля давно сгнила и обвалилась. Въ сей хижинѣ, лѣтъ за тридцать передъ симъ, жила прекрасная, любезная Лиза съ старушкою, матерью своею.

Отецъ Лизинъ былъ довольно зажиточный поселянинъ, потому что онъ любилъ работу, пахалъ хорошо землю и велъ всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обѣдняли. Лѣнивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлѣбъ пересталъ хорошо родиться. Онѣ принуждены были отдать свою землю въ наемъ, и за весьма небольшія деньги. Къ тому же бѣдная вдова, почти безпрестанно проливая слезы о смерти мужа своего—ибо и крестьянки любить умѣютъ!—день ото дня становилась слабѣе, и совсѣмъ не могла работать. Одна Лиза,—которая осталась послѣ отца пятнадцати лѣтъ—одна Лиза, не щадя своей нѣжной молодости, не щадя рѣдкой красоты своей, трудилась день и ночь—ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цвѣты, а лѣтомъ брала ягоды—и продавала ихъ въ Москвѣ. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее къ слабо-біющемуся сердцу, называла Божескою милостію, кормилицею, отрадою старости своей, и молила Бога, чтобы Онъ наградилъ ее за все то, что она дѣлаетъ для матери. „Богъ далъ мнѣ руки, чтобы работать (говорила Лиза): ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенкомъ: теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживятъ батюшки.“ Но часто нѣжная Лиза не могла удер-

жать собственныхъ слезъ своихъ—ахъ! она помнила, что у нее былъ отецъ, и что его не стало; но для успокоенія матери старалась таять печаль сердца своего, и казаться покойною и веселою.—„На томъ свѣтѣ, любезная Лиза (отвѣчала горестная старушка), на томъ свѣтѣ перестану я плакать. Тамъ, сказываютъ, будутъ всѣ веселы; я вѣрно весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть—что съ тобою безъ меня будетъ? На кого тебя покинуть? Нѣтъ, дай Богъ прежде пристроить тебя къ мѣсту! Можетъ быть, скоро сыщется добрый человѣкъ. Тогда, благословя васъ, милыхъ дѣтей моихъ, перекрещусь, и спокойно лягу въ сырую землю.“

Прошло года два послѣ смерти отца Лизина. Луга покрылись цвѣтами, и Лиза пришла въ Москву съ ландышами. Молодой, хорошо одѣтый человѣкъ, пріятнаго вида, встрѣтился ей на улицѣ. Она показала ему цвѣты — и покраснѣлась. „Ты продаешь ихъ, дѣвушка?“ спросилъ онъ съ улыбкою.—Продаю, отвѣчала она. „А что тебѣ надобно?“—Пять копѣекъ. „Это слишкомъ дешево. Вотъ тебѣ рубль.“ Лиза удивилась, осмѣлилась взглянуть на молодаго человѣка,—еще болѣе покраснѣлась, и потупивъ глаза въ землю, сказала ему, что она не возьметъ рубля. „Для чего же?“—Мнѣ не надобно лишняго. „Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной дѣвушки, стоятъ рубля. Когда же ты не берешь его, вотъ тебѣ пять копѣекъ. Я хотѣлъ бы всегда покупать у тебя цвѣты; хотѣлъ бы, чтобъ ты рвала ихъ только для меня.“ Лиза отдала цвѣты, взяла пять копѣекъ, поклонилась и хотѣла итти; но незнакомецъ остановилъ ее за руку. „Куда же ты пойдешь, дѣвушка?—Домой. „А гдѣ домъ твой?“ Лиза сказала, гдѣ она живетъ; сказала и пошла. Молодой человѣкъ не хотѣлъ удерживать ее, можетъ быть для того, что мимоходящіе начали останавливаться, и смотря на нихъ, коварно усмѣхались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что съ нею случилось. „Ты хорошо сдѣлала, что не взяла рубля. Можетъ

быть, это былъ какой нибудь дурной человѣкъ“.... *Ахъ, нѣтъ, матушка! я этого не думаю. У него такое доброе лице, такой голосъ*— „Однакожъ, Лиза, лучше кормиться трудами своими, и ничего не брать даромъ. Ты еще не знаешь, другъ мой, какъ злые люди могутъ обидѣть бѣдную дѣвушку! У меня всегда сердце бываетъ не на своемъ мѣстѣ, когда ты ходишь въ городъ; я всегда ставлю свѣчу передъ образомъ, и молю Господа Бога, чтобы Онъ сохранилъ тебя отъ всякой бѣды и напасти.“—У Лизы навернулись на глазахъ слезы; она поцѣловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самыхъ лучшихъ ландышей, и опять пошла съ ними въ городъ. Глаза ея тихонько чего-то искали. Многіе хотѣли у нее купить цвѣты; но она отвѣчала, что они не продажныя, и смотрѣла то въ ту, то въ другую сторону. Наступилъ вечеръ, надлежало возвратиться домой, и цвѣты были брошены въ Москву рѣку. *Никто не владѣй вами!* сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть въ сердцѣ своемъ.—На другой день ввечеру сидѣла она подъ окномъ, пряла и тихимъ голосомъ пѣла жалобныя пѣсни; но вдругъ вскочила и закричала: *Ахъ!*.... Молодой незнакомецъ стоялъ подъ окномъ.

„Что съ тобою сдѣлалось? спросила испугавшаяся мать, которая подлѣ нее сидѣла. *Ничего, матушка,* отвѣчала Лиза робкимъ голосомъ: *я только его увидѣла. „Кого?“ Того господина, который купилъ у меня цвѣты.* Старуха выглянула въ окно. Молодой человѣкъ поклонился ей такъ учтиво, съ такимъ пріятнымъ видомъ, что она не могла подумать объ немъ ничего, кромѣ хорошаго. *Здравствуй, добрая старушка!* сказалъ онъ: *я очень усталъ; нѣтъ ли у тебя свѣжаго молока?* Услужливая Лиза, не дождавшись отвѣта отъ матери своей—можетъ быть для того, что она его знала напередъ—побѣжала на погребъ—принесла чистую кринку, покрытую чистымъ деревяннымъ кружкомъ—схватила стаканъ, вымыла, вытерла его бѣлымъ полотенцомъ, налила и подала въ окно, но сама смотрѣла въ землю. Незнакомецъ выпилъ и нектаръ

изъ рукъ Гебы не могъ бы показаться ему вкуснѣе. Всякой догадается, что онъ послѣ того благодарилъ Лизу, и благодарилъ не столько словами, сколько взорами. Между тѣмъ добродушная старушка успѣла разсказать ему о своемъ горѣ и утѣшеніи — о смерти мужа и о милыхъ свойствахъ дочери своей, объ ея трудолюбіи и нѣжности, и проч. и проч. Онъ слушалъ ее со вниманіемъ; но глаза его были — нужно ли ска- зывать, гдѣ? И Лиза, робкая Лиза посматривала изрѣдка на молодаго человѣка; но не такъ скоро молнія блестить и въ облакѣ исчезаетъ, какъ быстро голубые глаза ея обращались къ землѣ, встрѣчаясь съ его взоромъ. — „Мнѣ хотѣлось бы, сказалъ онъ матери, чтобы дочь твоя никому, кромѣ меня, не продавала своей работы. Такимъ образомъ ей не за чѣмъ будетъ часто ходить въ городъ, и ты не принуждена будешь съ нею разставаться. Я самъ по временамъ могу заходить къ вамъ“. — Тутъ въ глазахъ Лизиныхъ блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотѣла; щеки ея пылали, какъ заря въ ясный лѣтній вечеръ; она смотрѣла на лѣвый рукавъ свой, и щипала его правою рукою. Старушка съ охотою приняла сіе предложеніе, не подозрѣвая въ немъ никакого худаго намѣренія, и увѣряла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бываютъ отмѣнно хороши, и носятъ долѣе всякихъ другихъ. — Становилось темно, и молодой человѣкъ хотѣлъ уже итти. „Да какъ же намъ называть тебя, добрый, ласковый баринъ?“ спросила старуха. — Меня зовутъ Эрастомъ, отвѣчалъ онъ. „*Эрастомъ*“, сказала тихонько Лиза — *Эрастомъ!* Она разъ пять повторила сіе имя, какъ будто бы стараясь затвердить его. — Эрастъ простился съ ними до свиданія, и пошелъ. Лиза провожала его глазами, а мать сидѣла въ задумчивости, и взявъ за руку дочь свою, сказала ей: „Ахъ, Лиза! какъ онъ хорошъ и добръ! Естли бы женихъ твой былъ таковъ!“ Все Лизино сердце затрепетало. *Матушка! матушка! какъ этому статься? Онъ баринъ; а между крестьянами...* Лиза не договорила рѣчи своей.

Теперь читатель долженъ знать, что сей молодой человекъ, сей Эрастъ былъ довольно богатый дворянинъ, съ изряднымъ разумомъ и добрымъ сердцемъ, добрымъ отъ природы, но слабымъ и вѣтреннымъ. Онъ велъ разсѣянную жизнь, думалъ только о своемъ удовольствіи, искалъ его въ свѣтскихъ забавахъ, но часто не находилъ: скучалъ и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрѣчѣ сдѣлала впечатлѣніе въ его сердцѣ. Онъ читывалъ романы, идилліи; имѣлъ живое воображеніе, и часто переселялся мысленно въ тѣ времена (бывшія или не бывшія), въ которыя, естъли вѣрить Стихотворцамъ, всѣ люди безопасно гуляли по лугамъ, купались въ чистыхъ источникахъ, цѣловались какъ горлицы, отдыхали подъ розами и миртами, и въ щастливой праздности всѣ дни свои проводжали. Ему казалось, что онъ нашелъ въ Лизѣ то, чего сердце его давно искало. „Натура призываетъ меня въ свои объятія, къ чистымъ своимъ радостямъ“—думалъ онъ, и рѣшился—по крайней мѣрѣ на время—оставить большой свѣтъ.

Обратимся къ Лизѣ. Наступила ночь—мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткаго сна; но на сей разъ желаніе ея не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ея, образъ Эрастовъ столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхожденія солнечнаго Лиза встала, сошла на берегъ Москвы рѣки, сѣла на травѣ, и подгорюнившись смотрѣла на бѣлые туманы, которые волновались въ воздухѣ, и подымаясь вверхъ, оставляли блестящія капли на зеленомъ покровѣ Натуры. Вездѣ царствовала тишина. Но скоро восходящее свѣтило дня пробудило все твореніе: рощи, кусточки оживились; птички вспорхнули и запѣли; цвѣты подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами свѣта. Но Лиза все еще сидѣла подгорюнившись. Ахъ, Лиза, Лиза! что съ тобою сдѣлалось? До сего времени, просыпаясь вмѣстѣ съ птичками, ты вмѣстѣ съ ними веселилась утромъ, и чистая, радостная душа свѣтилась въ глазахъ твоихъ, подобно какъ солнце

свѣтитса въ капляхъ росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость Природы чужда твоему сердцу.—Между тѣмъ молодой пастухъ по берегу рѣки гналъ стадо, играя на свирѣли. Лиза устремила на него взоръ свой и думала: „Естьли бы тотъ, кто занимаетъ теперь мысли мои, рожденъ былъ протымъ крестьяниномъ, пастухомъ,—и естьли бы онъ теперь мимо меня гналъ стадо свое: ахъ! я поклонилась бы ему съ улыбкою, и сказала бы привѣтливо: *Здравствуй, любезный пастушокъ! куда гонишь ты стадо свое? И здѣсь растеть зеленая трава для овецъ твоихъ; и здѣсь алыютъ цвѣты, изъ которыхъ можно сплести вѣнокъ для шляпки твоей.* Онъ взглянулъ бы на меня съ видомъ ласковымъ—взялъ бы, можетъ быть, руку мою.... Мечта!“ Пастухъ, играя на свирѣли, пошелъ мимо, и съ пестрымъ стадомъ своимъ скрылся за ближнимъ холмомъ.

Вдругъ Лиза услышала шумъ веселья—взглянула на рѣку и увидѣла лодку, а въ лодкѣ Эраста.

Всѣ жилки въ ней забились, и конечно не отъ страха. Она встала, хотѣла итти, но не могла. Эрастъ выскочилъ на берегъ, подошелъ къ Лизѣ и — мечта ея отчасти исполнилась: ибо онъ *взглянулъ на нее съ видомъ ласковымъ, взялъ ее за руку...* А Лиза, Лиза стояла съ потупленнымъ взоромъ, съ огненными щеками, съ трепещущимъ сердцемъ—Эрастъ узналъ, что онъ любимъ, любимъ страстно новымъ, чистымъ, открытымъ сердцемъ.

Они сидѣли на травѣ, и смотрѣли другъ другу въ глаза, говорили другъ другу: *люби меня!* и два часа показались имъ мигомъ. Наконецъ Лиза вспомнила, что мать ея можетъ объ ней беспокоиться. Надлежало разстаться. *Ахъ, Эрастъ!* сказала она: *всегда ли ты будешь любить меня?* „Всегда, милая Лиза, всегда!“ отвѣчалъ онъ.—*И ты можешь мнѣ дать въ этомъ клятву?* — „Могу, любезная Лиза, могу!“ — *Нѣтъ, мнѣ не надобно клятвы. Я вѣрю тебѣ, Эрастъ, вѣрю. Уже ли ты обманеши бѣдную Лизу? Вѣдь этому нельзя быть?* — Нельзя, нельзя, милая Лиза!“ — *Какъ я ща-*

*стлива! и какъ обрадуется матушка, когда узнаетъ, что ты меня любишь!*— „Ахъ нѣтъ, Лиза! ей не надобно ничего сказывать.“— *Для чего же?* — „Старые люди бываютъ подозрительны. Она вообразить себѣ что нибудь худое.“— *Нельзя стать.*— „Однакожь прошу тебя не говорить ей объ этомъ ни слова.“— *Хорошо, надобно тебя послушаться, хотя мнѣ не хотѣлось бы ничего таить отъ нее.* Они простились, поцѣловались въ послѣдній разъ, и общались всякой день ввечеру видѣться, или на берегу рѣки, или въ березовой рощѣ, или гдѣ нибудь близъ Лизиной хижины, только вѣрно, непремѣнно видѣться. Лиза пошла, но глаза ея сто разъ обращались на Эраста, который все еще стоялъ на берегу и смотрѣлъ въ слѣдъ за нею.

Лиза возвратилась въ хижину свою совсѣмъ не въ такомъ расположеніи, въ какомъ изъ нее вышла. На лицѣ и во всѣхъ ея движеніяхъ обнаруживалась сердечная радость. *Онъ меня любитъ!* думала она, и восхищалась сею мыслію. „Ахъ матушка!“ сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. „Ахъ матушка! какое прекрасное утро! „Какъ все весело въ полѣ! Никогда жаворонки такъ хорошо „не пѣвали; никогда солнце такъ свѣтло не сіяло; никогда „цвѣты такъ пріятно не пахли!“ — Старушка, подпираясь клюкою, вышла на лугъ, чтобы насладиться утромъ, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно въ самомъ дѣлѣ показалось ей отмѣнно пріятнымъ; любезная дочь весельемъ своимъ развеселяла для нее всю Натуру. „Ахъ Лиза!“ говорила она: „какъ все хорошо у Господа Бога! „Шестой десятокъ доживаю на свѣтѣ, а все еще не могу „наглядѣться на дѣла Господни; не могу наглядѣться на „чистое небо, похожее на высокой шатеръ, и на землю, ко- „торая всякой годъ новою травою и новыми цвѣтами покрыва- „ется. Надобно, чтобы Царь небесный очень любилъ чело- „вѣка, когда онъ такъ хорошо убралъ для него здѣшній „свѣтъ. Ахъ, Лиза! кто бы захотѣлъ умереть, естли бы „иногда не было намъ горя?.... Видно такъ надобно. Можетъ

„быть, мы забыли бы душу свою, если бы изъ глазъ нашихъ „никогда, слезы не капали.“ А Лиза думала: *ахъ! я скорѣе забуду душу свою, нежели милого моего друга!*

Послѣ сего Эрастъ и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякой вечеръ видѣлись (тогда, какъ Лизина мать ложилась спать) или на берегу рѣки, или въ березовой рощѣ, но всего чаще подъ тѣнію столѣтнихъ дубовъ (саженяхъ въ осьмидесяти отъ хижины)—дубовъ, осѣняющихъ глубокой, чистый прудъ, еще въ древнія времена ископанный. Тамъ часто тихая луна, сквозь зеленныя вѣтви посребрала лучами своими свѣтлыя Лизины волосы, которыми играли Зефиры и рука милого друга; часто лучи сіи освѣщали въ глазахъ нѣжной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовымъ поцѣлуемъ. „Когда ты, говорила Лиза Эрасту, когда ты скажешь мнѣ: *люблю тебя, другъ мой!* когда прижмешь меня къ своему сердцу, и взглянешь на меня умильными своими глазами: *ахъ!* тогда бываетъ мнѣ такъ хорошо, такъ хорошо, что я себя забываю, забываю все, кромѣ—Эраста. Чудно! чудно, мой другъ, что я, не знавъ тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мнѣ это не понятно; теперь думаю, что безъ тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Безъ глазъ твоихъ темень свѣтлой мѣсяцъ; безъ твоего голоса скученъ соловей поющій; безъ твоего дыханія вѣтерокъ мнѣ непріятенъ.“—Эрастъ восхищался своей пастушкой—такъ называлъ Лизу—и видя, сколь она любитъ его, казался самъ себѣ любезнѣе. Всѣ блестящія забавы большаго свѣта представлялись ему ничтожными въ сравненіи съ тѣми удовольствіями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. „Я буду жить съ Лизою, какъ братъ съ сестрою (думалъ онъ): не употреблю во зло любви ея, и буду всегда счастливъ!“—

Лиза требовала, чтобы Эрастъ часто посѣщалъ мать ея. „Я люблю ее, говорила она, и хочу ей добра, а мнѣ кажется, что видѣть тебя есть великое благополучіе для всякаго.“—Старушка въ самомъ дѣлѣ всегда радовалась, когда его видѣла. Она любила говорить съ нимъ о покойномъ мужѣ, и

разсказывать ему о днях своей молодости: о томъ, какъ она въ первый разъ встрѣтилась съ милымъ своимъ Иваномъ, какъ онъ полюбилъ ее, и въ какой любви, въ какомъ согласіи жилъ съ нею. „Ахъ! мы никогда не могли другъ на друга наглядѣться,—до самаго того часа, какъ лютаѣ смерти подкосила ноги его. Онъ умеръ на рукахъ моихъ!“—Эрастъ слушалъ ее съ непритворнымъ удовольствіемъ. Онъ покупалъ у нее Лизину работу, и хотѣлъ всегда платить въ десять разъ дороже назначаемой ею цѣны; но старушка никогда не брала лишняго.

Такимъ образомъ прошло нѣсколько недѣль. Однажды ввечеру Эрастъ долго ждалъ своей Лизы. Наконецъ пришла она, но такъ невесела, что онъ испугался; глаза ея отъ слезъ покраснѣли. *Лиза, Лиза! что съ тобою случилось?* — Ахъ, Эрастъ! я плакала! — *О чемъ? что такое?* — „Я должна сказать тебѣ все. За меня сватается женихъ, сынъ богатаго крестьянина изъ сосѣдней деревни; матушка хочетъ, чтобы я за него вышла.“ — *И ты соглашаешься?* — „Жестокой! можешь ли объ этомъ спрашивать? Да мнѣ жаль матушки; она плачетъ, и говоритъ, что я не хочу ея спокойствія; что она будетъ мучиться при смерти, если не выдастъ меня при себѣ замужъ. Ахъ! матушка не знаетъ, что у меня есть такой милый другъ!“—Эрастъ цѣловалъ Лизу; говорилъ, что ея счастье дороже ему всего на свѣтѣ; что по смерти матери ея онъ возьметъ ее къ себѣ, и будетъ жить съ нею неразлучно, въ деревнѣ и въ дремучихъ лѣсахъ, какъ въ раю. — „Однакожь тебѣ нельзя быть моимъ мужемъ!“ сказала Лиза съ тихимъ вздохомъ. — *По чему же?* — „Я крестьянка.“ — *Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнѣе всего души чувствительная, невинная душа, — и Лиза будетъ всегда ближайшая къ моему сердцу.*

Она бросилась въ его объятія....

Слезы катились изъ глазъ ея, когда она прощалась съ нимъ. *Ахъ, Эрастъ! утѣрь меня, что мы будемъ по прежнему счастливы!* — „Будемъ, Лиза, будемъ!“ отвѣчалъ онъ. —

*Дай Богъ! Мнѣ нельзя не вѣрить словамъ твоимъ: вѣдь я люблю тебя! Только въ сердцѣ моемъ... Но помню! Прости! Завтра, завтра увидимся.*

Свиданія ихъ продолжались; но все перемѣнилось! Эрастъ не могъ уже доволенъ быть однѣми ласками своей Лизы. Что принадлежитъ до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, имъ только жила и дышала, во всемъ какъ агнецъ повиновалась его волѣ, и въ удовольствіи его полагала свое счастье. Она видѣла въ немъ перемѣну, и часто говорила ему: *Прежде бывалъ ты веселѣе; прежде бывали мы покойнѣе и счастливѣе; и прежде я не такъ боялась потерять любовь твою!*—Иногда, прощаясь съ нею, онъ говорилъ ей: *Завтра, Лиза, не могу съ тобою видѣться; мнѣ встрѣтилось важное дѣло*—и всякой разъ при сихъ словахъ Лиза вздыхала.

Наконецъ пять дней сряду она не видала его и была въ величайшемъ безпокойствѣ; въ шестой пришелъ онъ съ печальнымъ лицомъ и сказалъ ей: „Любезная Лиза! мнѣ должно на нѣсколько времени съ тобою проститься. Ты знаешь, что у насъ война; я въ службѣ; полкъ мой идетъ въ походъ.“—Лиза поблѣднѣла, и едва не упала въ обморокъ.

Эрастъ ласкалъ ее; говорилъ, что онъ всегда будетъ любить милую Лизу, и надѣется по возвращеніи своемъ уже никогда съ нею не разставаться. Долго она молчала; потомъ залилась горькими слезами, схватила руку его и взглянувъ на него со всею нѣжностію любви, спросила: *тебѣ нельзя остаться?* „Могу, отвѣчалъ онъ, но только съ величайшимъ безславіемъ, съ величайшимъ пятномъ для моей чести. Всѣ будутъ презирать меня; всѣ будутъ гнущаться мною, какъ трусомъ, какъ недостойнымъ сыномъ отечества.“ *Ахъ! когда такъ,* сказала Лиза, *то поѣзжай, поѣзжай, куда Богъ велитъ! Но тебя могутъ убить.* — „Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза“. — *Я умру, какъ скоро тебя не будетъ на свѣтѣ.* — „Но за чѣмъ это думать? Я надѣюсь остаться живъ, надѣюсь возвратиться къ тебѣ, моему другу.“ — *Дай Богъ! дай Богъ! Всякой день, всякой часъ буду о томъ*

разсказывать ему о днях своей молодости: о томъ, какъ она въ первый разъ встрѣтилась съ милымъ своимъ Иваномъ, какъ онъ полюбилъ ее, и въ какой любви, въ какомъ согласіи жилъ съ нею. „Ахъ! мы никогда не могли другъ на друга наглядѣться,—до самаго того часа, какъ лютаѣ смерти подкосила ноги его. Онъ умеръ на рукахъ моихъ!“—Эрастъ слушалъ ее съ непритворнымъ удовольствіемъ. Онъ покупалъ у нее Лизину работу, и хотѣлъ всегда платить въ десять разъ дороже назначаемой ею цѣны; но старушка никогда не брала лишняго.

Такимъ образомъ прошло нѣсколько недѣль. Однажды ввечеру Эрастъ долго ждалъ своей Лизы. Наконецъ пришла она, но такъ невесела, что онъ испугался; глаза ея отъ слезъ покраснѣли. *Лиза, Лиза! что съ тобою случилось?* — Ахъ, Эрастъ! я плакала!“—*О чемъ? что такое?*—„Я должна сказать тебѣ все. За меня сватается женихъ, сынъ богатаго крестьянина изъ сосѣдней деревни; матушка хочетъ, чтобы я за него вышла.“—*И ты соглашаешься?* — „Жестокой! можешь ли объ этомъ спрашивать? Да мнѣ жаль матушки; она плачетъ, и говоритъ, что я не хочу ея спокойствія; что она будетъ мучиться при смерти, если не выдастъ меня при себѣ замужъ. Ахъ! матушка не знаетъ, что у меня есть такой милый другъ!“—Эрастъ цѣловалъ Лизу; говорилъ, что ея счастье дороже ему всего на свѣтѣ; что по смерти матери ея онъ возьметъ ее къ себѣ, и будетъ жить съ нею неразлучно, въ деревнѣ и въ дремучихъ лѣсахъ, какъ въ раю.—„Однакожъ тебѣ нельзя быть моимъ мужемъ!“ сказала Лиза съ тихимъ вздохомъ.—*По чему же?*—„Я крестьянка.“—*Ты обижаетъ меня. Для твоего друга важнѣе всего души чувствительная, невинная душа, — и Лиза будетъ всегда ближайшая къ моему сердцу.*

Она бросилась въ его объятія....

Слезы катились изъ глазъ ея, когда она прощалась съ нимъ. *Ахъ, Эрастъ! утѣрь меня, что мы будемъ по прежнему счастливы!* — „Будемъ, Лиза, будемъ!“ отвѣчалъ онъ.—

*Дай Богъ! Мнѣ нельзя не въпритъ словамъ твоимъ: вѣдь я люблю тебя! Только въ сердцѣ моемъ... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся.*

Свиданія ихъ продолжались; но все переимѣнилось! Эрастъ не могъ уже доволенъ быть однѣми ласками своей Лизы. Что принадлежитъ до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, имѣть только жила и дышала, во всемъ какъ агнецъ повиновалась его волѣ, и въ удовольствіи его полагала свое щастіе. Она видѣла въ немъ переимѣну, и часто говорила ему: *Прежде бывалъ ты веселѣе; прежде бывали мы покойнѣе и щастливѣе; и прежде я не такъ боялась потерять любовь твою!*—Иногда, прощаясь съ нею, онъ говорилъ ей: *Завтра, Лиза, не могу съ тобою видѣться; мнѣ встрѣтилось важное дѣло*—и всякой разъ при сихъ словахъ Лиза вздыхала.

Наконецъ пять дней сряду она не видала его и была въ величайшемъ безпокойствѣ; въ шестой пришелъ онъ съ печальнымъ лицомъ и сказалъ ей: „Любезная Лиза! мнѣ должно на нѣсколько времени съ тобою проститься. Ты знаешь, что у насъ война; я въ службѣ; полкъ мой идетъ въ походъ.“—Лиза поблѣднѣла, и едва не упала въ обморокъ.

Эрастъ ласкалъ ее; говорилъ, что онъ всегда будетъ любить милую Лизу, и надѣется по возвращеніи своемъ уже никогда съ нею не разставаться. Долго она молчала; потомъ залилась горькими слезами, схватила руку его и взглянувъ на него со всею нѣжностію любви, спросила: *тебѣ нельзя остаться?* „Могу, отвѣчалъ онъ, но только съ величайшимъ безславіемъ, съ величайшимъ пятномъ для моей чести. Всѣ будутъ презирать меня; всѣ будутъ гнушаться мною, какъ трусомъ, какъ недостойнымъ сыномъ отечества.“ *Ахъ! когда такъ,* сказала Лиза, *то поѣзжай, поѣзжай, куда Богъ велитъ! Но тебя могутъ убить.* — „Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза“. — *Я умру, какъ скоро тебя не будетъ на свѣтѣ.* — „Но за чѣмъ это думать? Я надѣюсь остаться живъ, надѣюсь возвратиться къ тебѣ, моему другу.“ — *Дай Богъ! дай Богъ! Всякой день, всякой часъ буду о томъ*

*молиться. Ахъ! для чего не умю ни читать, ни писать! Ты бы уведомлялъ меня обо всемъ, что съ тобою случится! а я писала бы къ тебѣ—о слезахъ своихъ! — Нѣтъ, береги себя, Лиза; береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты безъ меня плакала.“ — Жестокой человекъ! ты думаешь мучить меня и этой отрадой! Нѣтъ! разставшись съ тобою, развѣ тогда перестану плакать, когда высохнетъ сердце мое. — „Думай о пріятной минутѣ, въ которую мы опять увидимся.“ — Буду, буду думать объ ней! Ахъ! если бы она пришла скорѣе! Любезный, милый Эрастъ! помни, помни свою бѣдную Лизу, которая любитъ тебя болѣе, нежели самое себя!*

Но я не могу описать всего, что они при семъ случаѣ говорили. На другой день надлежало быть послѣдному свиданію.

Эрастъ хотѣлъ проститься съ Лизиной матерью, которая не могла отъ слезъ удержаться, слыша, что *ласковой, пригожій баринъ* ея долженъ ѣхать на войну. Онъ принудилъ ее взять у него нѣсколько денегъ, сказавъ: „Я не хочу, чтобы Лиза въ мое отсутствіе продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежитъ мнѣ.“ — Старушка осыпала его благословеніями. „Дай Господи, говорила она, чтобы ты къ намъ благополучно возвратился, и чтобы я тебя еще разъ увидѣла въ здѣшней жизни! Авось-либo моя Лиза къ тому времени найдетъ себѣ жениха по мыслямъ. Какъ бы я благодарила Бога, еслибъ ты пріѣхалъ къ нашей свадьбѣ! Когда же у Лизы будутъ дѣти, знай, баринъ, что ты долженъ крестить ихъ! Ахъ! мнѣ бы очень хотѣлось дожить до этого!“ — Лиза стояла подлѣ матери, и не смѣла взглянуть на нее. Читатель легко можетъ вообразить себѣ, что она чувствовала въ сію минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эрастъ, обнявъ ее въ послѣдній разъ, въ послѣдній разъ прижавъ къ своему сердцу, сказалъ: *прости, Лиза!...* Какая трогательная картина! Утренняя заря, какъ алое море, разливалась по восточному небу. Эрастъ стоялъ подъ вѣтвями высокаго дуба,

держа въ объятіяхъ своихъ блѣдную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь съ нимъ, прощалась съ душою своею. Вся Натура пребывала въ молчаніи.

Лиза рыдала—Эраста плакалъ—оставилъ ее—она упала—стала на колѣни, подняла руки къ небу и смотрѣла на Эраста, который удалялся—далѣе—далѣе и наконецъ скрылся—возсіяло солнце, и Лиза, оставленная, бѣдная, лишилась чувствъ и памяти.

Она пришла въ себя—и свѣтъ показался ей унылъ и печаленъ. Всѣ пріятности Натуры сокрылись для нее вмѣстѣ съ любезнымъ ея сердцу. „Ахъ! (думала она) для чего я осталась въ этой пустынѣ? Что удерживаетъ меня летѣть въ слѣдъ за милымъ Эрастомъ? Война не страшна для меня; страшно тамъ, гдѣ нѣтъ моего друга. Съ нимъ жить, съ нимъ умереть хочу, или смертію своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! я лечу къ тебѣ!“—Уже хотѣла она бѣжать за Эрастомъ; но мысль: *у меня есть мать!* остановила ее. Лиза вздохнула, и преклонивъ голову, тихими шагами пошла къ своей хижинѣ.—Съ сего часа дни ея были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать отъ нѣжной матери: тѣмъ болѣе страдало сердце ея! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь въ густоту лѣса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлукѣ съ милымъ. Часто печальная горлица соединяла жалобный голосъ свой съ ея стенаніемъ. Но иногда—хотя весьма рѣдко — златой лучъ надежды, лучъ утѣшенія, освѣщаль мракъ ея скорби. *Когда онъ возвратится ко мнѣ, какъ я буду счастлива! какъ все переменится!* отъ сей мысли прояснялся взоръ ея, розы на щекахъ освѣжались, и Лиза улыбалась, какъ Майское утро послѣ бурной ночи. — Такимъ образомъ прошло около двухъ мѣсяцовъ.

Въ одинъ день Лиза должна была итти въ Москву, за тѣмъ, чтобы купить розовой воды, которою мать ея лечила глаза свои. На одной изъ большихъ улицъ встрѣтилась ей великолѣпная карета, и въ сей каретѣ увидѣла она—Эраста.

*Ахъ!* закричала Лиза, и бросилась къ нему; но карета проѣхала мимо и поворотила на дворъ. Эрастъ вышелъ, и хотѣлъ уже итти на крыльцо огромнаго дома, какъ вдругъ почувствовалъ себя въ Лизиныхъ объятіяхъ. Онъ поблѣднѣлъ — потомъ, не отвѣчая ни слова на ея восклицанія, взялъ ее за руку, привелъ въ свой кабинетъ, заперъ дверь, и сказалъ ей: *Лиза! обстоятельства перемѣнились; я по-молвилъ жениться; ты должна оставить меня въ покоѣ, и для собственнаго своего спокойствія забыть меня. Я любилъ тебя, и теперь люблю, то есть, желаю тебѣ всякаго добра. Вотъ сто рублей—возьми ихъ* (онъ положилъ ей деньги въ карманъ) — *позволь мнѣ поцѣловатьъ тебя въ послѣдній разъ—и пооди домой.*—Прежде нежели Лиза могла опомниться, онъ вывелъ ее изъ кабинета и сказалъ слугѣ: *проводи эту дѣвушку со двора.*

Сердце мое обливается кровію въ сію минуту. Я забываю челоѣка въ Эрастѣ—готовъ проклинать его—но языкъ мой не движется—смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ахъ! для чего пишу не романъ, а печальную быль?

И такъ Эрастъ обманулъ Лизу, сказавъ ей, что онъ ѣдетъ въ армію? — Нѣтъ, онъ въ самомъ дѣлѣ былъ въ арміи, но вмѣсто того, чтобы сражаться съ непріятелемъ, игралъ въ карты и проигралъ почти все свое имѣніе. Скоро заключили миръ, и Эрастъ возвратился въ Москву, отягченный долгами. Ему оставался одинъ способъ поправить свои обстоятельства—жениться на пожилой, богатой вдовѣ, которая давно была влюблена въ него. Онъ рѣшился на то, и переѣхалъ жить къ ней въ домъ, посвятивъ искренній вздохъ Лизѣ своей: Но все сіе можетъ ли оправдать его?

Лиза очутилась на улицѣ, и въ такомъ положеніи, котораго никакое перо описать не можетъ. *Онъ, онъ выгналъ меня? Онъ любитъ другую? я погибла!* вотъ ея мысли, ея чувства! Жестокой обморокъ перервалъ ихъ на время. Одна добрая женщина, которая шла по улицѣ, остановилась надъ Лизою, лежавшею на землѣ, и старалась привести ее въ память. Не-

пастная открыла глаза—встала съ помощію сей доброй женщины,—благодарила ее, и пошла, сама не зная, куда. „Мнѣ нельзя жить (думала Лиза) нельзя!... О, естли бы упало на меня небо! Естли бы земля поглотила бѣдную!... Нѣтъ! небо не падаетъ; земля не колеблется! Горе мнѣ!“ — Она вышла изъ города, и вдругъ увидѣла себя на берегу глубокаго пруда, подъ тѣнію древнихъ дубовъ, которые за нѣсколько недѣль передъ тѣмъ были безмолвными свидѣтелями ея восторговъ. Сіе воспоминаніе потрясло ея душу; страшнѣйшее сердечное мученіе изобразилось на лицѣ ея. Но черезъ нѣсколько минутъ погрузилась она въ нѣкоторую задумчивость—осмотрѣла вокругъ себя, увидѣла дочь своего сосѣда (пятнадцатилѣтнюю дѣвушку), идущую по дорогѣ—кликнула ее, вынула изъ кармана десять имперіаловъ, и, подавая ей, сказала: „Любезная Анюта, любезная подруга! отнеси эти „деньги къ матушкѣ—онѣ не краденныя—скажи ей, что Лиза „противъ нее виновата; что я тайла отъ нее любовь свою къ „одному жестокому человѣку,—къ Э..... Начто знать его имя?“ „Скажи, что онъ измѣнилъ мнѣ—попроси, чтобы она меня „простила — Богъ будетъ ея помощникомъ — поцѣлуй у нее „руку такъ, какъ я теперь твою цѣлую—скажи, что бѣдная „Лиза велѣла поцѣловать ее—скажи что я...“ Тутъ она бросилась въ воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее; побѣжала въ деревню—собрались люди, и вытащили Лизу; но она была уже мертвая.

Такимъ образомъ скончала жизнь свою прекрасная душою и тѣломъ. Когда мы *тамъ*, въ новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нѣжная Лиза!

Ее погребли близъ пруда, подъ мрачнымъ дубомъ, и поставили деревянный крестъ на ея могилѣ. Тутъ часто сижу въ задумчивости, опершись на вмѣстилище Лизина праха; въ глазахъ моихъ струится прудъ; надо мною шумятъ листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ея отъ ужаса охладѣла—глаза на вѣкъ закрылись.—

Хижина опустѣла. Въ ней воетъ вѣтеръ, и суетвѣрные поселяне, слыша по ночамъ сей шумъ, говорятъ: *тамъ стонетъ мертвецъ; тамъ стонетъ бѣдная Лиза!*

Эрастъ былъ до конца жизни своей несчастливъ. Узнавъ о судьбѣ Лизиной, онъ не могъ утѣшиться и почиталъ себя убійцею. Я познакомился съ нимъ за годъ до его смерти. Онъ самъ разсказалъ мнѣ сію исторію и привелъ меня къ Лизиной могилѣ. — Теперь, можетъ быть, они уже примирились<sup>1)</sup>!

1792 года.

---

<sup>1)</sup> Въ настоящее время, трудно представить себѣ силу впечатлѣнія, произведеннаго небольшимъ разсказомъ, который не заключаетъ въ себѣ ничего особеннаго ни по интригѣ, ни по развитію психологическому. Однакожъ, чрезвычайный успѣхъ повѣсти есть несомнѣнный фактъ. Симоновъ монастырь съ его окрестностями, гдѣ жила Лиза, сдѣлался любимымъ мѣстомъ для сентиментальныхъ прогулокъ. Посѣтители и посѣтельницами, гуляя по берегамъ пруда, въ который съ тоски и отчаянія бросилась героиня, мечтали о несчастной судьбѣ ея и вырѣзывали начальную букву ея имени на прибрежныхъ березахъ. Одни ставили себя на мѣсто Эраста, другія страшились быть обманутыми въ любви. Стихотворцы славили автора или сочиняли элегіи „къ праху бѣдной Лизы“. А сколько слезъ было пролито при чтеніи повѣсти! сколько подражаній ей написано! „Бѣдная Лиза“ стала забываться только съ того времени, какъ явилась „Людмила“ Жуковскаго. — Необыкновенный успѣхъ повѣсти объясняется тѣмъ, что она была первымъ талантливымъ произведеніемъ въ новомъ сентиментальномъ направленіи повѣствовательной поэзіи. До нея уже многіе виды романа перебивали въ нашей литературѣ, постоянно слѣдовавшей за движеніемъ литературъ европейскихъ, но въ ближайшее къ ней время.... стояли на виду романы героическіе.... Дѣйствующія лица въ нихъ слишкомъ удалены отъ обыкновенной жизни.... читатель оставался къ нимъ равнодушенъ. Мѣщанская драма и Ричардсоновы романы низвели поэтическій вымыселъ.... въ среду ежедневно переживаемой нами жизни. Къ этому роду повѣстей относится и „Бѣдная Лиза“. Она понравилась современному образованному классу не столько сюжетомъ и внѣшнею обстановкою, сколько внутреннимъ содержаніемъ.... (А. Галаховъ).

IV.

НАТАЛЬЯ

БОЯРСКАЯ ДОЧЬ<sup>1)</sup>.

1792.

Кто изъ насъ не любитъ тѣхъ временъ, когда Русскіе были Русскими; когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ по своему сердцу, то есть говорили, какъ думали? По крайней мѣрѣ я люблю сіи времена, люблю на быстрыхъ крыльяхъ воображенія летать въ ихъ отдаленную мрачность, подъ сѣнію давно-истлѣвшихъ вѣзъ искать брадатыхъ моихъ предковъ, бесѣдовать съ ними о приключеніяхъ древности, о характерѣ славнаго народа Русскаго, и съ нѣжностію цѣловать ручки у моихъ прабабушекъ, которыя не могутъ насмотрѣться на своего почтительнаго правнука, не могутъ наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, разсуждая съ ними о старыхъ и новыхъ модахъ, всегда отдаю преимущество ихъ подкапкамъ и шубейкамъ передъ нынѣшними *bonnets à la...* и всѣми Галло-Албіонскими нарядами, блистающими на Московскихъ красавицахъ въ концѣ осьмаго-надесять вѣка. Такимъ обра-

---

<sup>1)</sup> Тотъ повѣсти „Наталья боярская дочь“ отличается отъ тона „Бѣдной Лизы“, хотя и причисляется вмѣстѣ съ нею къ чувствительнымъ повѣстямъ. Шутливый, игривый характеръ вступленія въ нее, напоминающій манерный юморъ французскихъ писателей XVIII вѣка, просвѣчиваетъ въ описаніи и любви героини, и сердечныхъ ея тревогъ.... Подробное повѣствованіе о зарожденіи любви Натальи въ значительной степени проникнуто той шаловливой насмѣшкой, которая такъ понравилась современникамъ въ „Душенькѣ“ Богдановича (1775), и Карамзинъ въ этой повѣсти „игралъ воображеніемъ“ въ легкой прозѣ такъ же, какъ Богдановичъ „игралъ воображеніемъ“ въ легкихъ стихахъ“.... Повѣсть не можетъ быть названа историческою въ томъ смыслѣ, какъ теперь понимаютъ это слово. Разсматриваемая-же какъ сказка, „Наталья боярская дочь“ получить замѣтное мѣсто въ цѣпи, связующей „Душеньку“ Богдановича со сказками Жуковского и „Русланомъ“ Пушкина. (Л. Поливановъ).

зомъ (конечно, понятнымъ для всѣхъ читателей) старая Русь известна мнѣ болѣе, нежели многимъ изъ моихъ согражданъ; и естли утрюмая Парка еще нѣсколько лѣтъ не перерѣжетъ жизненной моей нити, то наконецъ не найду я и мѣста въ головѣ своей для всѣхъ анекдотовъ и повѣстей, разсказываемыхъ мнѣ жителями прошедшихъ столѣтій. Чтобы облегчить не много грузъ моей памяти, намѣренъ я сообщить любезнымъ читателямъ одну быль, или исторію, слышанную мною въ области тѣней, въ царствѣ воображенія, отъ бабушки моего дѣдушки, которая въ свое время почиталась весьма краснорѣчивою, и почти всякой вечеръ сказывала сказки Царицѣ N. N. Только страшусь обезобразить повѣсть ея; боюсь, чтобы старушка не примчалась на облакѣ съ того свѣта и не наказала меня клюкою своею за худое риторство... Ахъ, нѣтъ! прости безразсудность мою, великодушная тѣнь — ты неудобна къ такому дѣлу! Въ самой земной жизни своей была ты смирна и незлобна, какъ юная овечка; рука твоя не умертвила здѣсь ни комара, ни мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоёмъ: и такъ возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь въ морѣ неописаннаго блаженства, и дышишь чистѣйшимъ эфиромъ неба — возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорнаго праправнука? Нѣтъ! ты позволишь ему безпрепятственно упражняться въ похвальномъ ремеслѣ марать бумагу, взводить небылицы на живыхъ и мертвыхъ, испытывать терпѣніе своихъ читателей, и наконецъ, подобновѣчно-зѣвающему богу Морфею, низвергать ихъ — на мягкіе диваны и погружать въ глубокой сонъ... Ахъ! въ самую сію минуту вижу необыкновенный свѣтъ въ темномъ моемъ корридорѣ, вижу огненные круги, которые вертятся съ блескомъ и съ трескомъ, и наконецъ — чудо! являютъ мнѣ твой образъ, образъ неописанной красоты, неописаннаго величества! Очи твои сіяютъ какъ солнце; уста твои алѣютъ какъ заря утренняя, какъ вершины нѣжныхъ горъ при восходѣ дневнаго свѣтила — ты улыбаешься, какъ юное твореніе въ первый день бытія своего улыбалось, и въ восторгѣ слышу

я *сладко-гремяція* слова твои: „продолжай, любезный мой праправнукъ!“ Такъ, я буду продолжать, буду; и вооружась перомъ, мужественно начертаю исторію *Наталли, Боярской дочери*.—Но прежде должно мнѣ отдохнуть; восторгъ, въ который привело меня явленіе прапрабабушки, утомилъ душевныя мои силы. На нѣсколько минутъ кладу перо—и сіи написанныя строки да будутъ вступленіемъ или предисловіемъ!

---

Въ престольномъ градѣ славнаго Русскаго царства, въ Москвѣ бѣлокаменной, жилъ Бояринъ Матвѣй Андреевъ, человѣкъ богатый, умный, вѣрный слуга Царской, и, по обычаю Русскихъ, великой хлѣбосоль. Онъ владѣлъ многими помѣстьями, и былъ не обидчикомъ, а покровителемъ и заступникомъ своихъ бѣдныхъ сосѣдей,—чему въ наші просвѣщенные времена, можетъ быть, не всякой повѣритъ, но что въ старину совсѣмъ не почиталось рѣдкостію. Царь называлъ его правымъ глазомъ своимъ, и правой глазъ никогда Царя не обманывалъ. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, онъ призывалъ себѣ въ помощь Боярина Матвѣя, и Бояринъ Матвѣй, кладя чистую руку на чистое сердце, говорилъ: *сей правъ* (не по такому-то указу, состоявшемуся въ такомъ-то году, но) *по моей совѣсти; сей виноватъ по моей совѣсти* — и совѣсть его была всегда согласна съ правдою и съ совѣстію Царскою. Дѣло рѣшилось безъ замедленія: правый подымалъ на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на добраго Государя и добраго Боярина; а виноватый бѣжалъ въ густые лѣса сокрыть стыдъ свой отъ человѣковъ.

Еще не можемъ мы умолчать объ одномъ похвальномъ обыкновеніи Боярина Матвѣя, обыкновеніи, которое достойно подражанія во всякомъ вѣкѣ и во всякомъ царствѣ; а именно, въ каждый дванадесятый праздникъ поставлялись длинные столы въ его горницахъ, чистыми скатертьми накрытые, и Бояринъ, сидя на лавкѣ подлѣ высокихъ воротъ своихъ,

звалъ къ себѣ обѣдать всѣхъ мимоходящихъ бѣдныхъ<sup>1)</sup> людей, сколько ихъ могло помѣститься въ жилищѣ боярскомъ; потомъ, собравъ полное число, возвращался въ домъ, и ука-завъ мѣсто каждому гостю, садился самъ между ими. Тутъ въ одну минуту являлись на столахъ чаши и блюда, и аро-матической паръ горячаго кушанья, какъ бѣлое тонкое облако, вился надъ головами обѣдающихъ. Между тѣмъ хо-зяинъ ласково бесѣдовалъ съ гостями, узнавалъ ихъ нужды, подавалъ имъ хорошіе совѣты, предлагалъ свои услуги, и наконецъ веселился съ ними какъ съ друзьями. Такъ въ древнія Патріархальныя времена, когда вѣкъ человѣческой былъ не столь кратокъ, почтенными сѣдинами украшенный старецъ насыщался земными благами со многочисленнымъ своимъ семействомъ—смотрѣлъ вокругъ себя, и видя на вся-комъ лицѣ, во всякомъ взорѣ живое изображеніе любви и радости, восхищался въ душѣ своей.—Послѣ обѣда, всѣ не-имущіе братья, наполнивъ виномъ свои чарки, восклицали въ одинъ голосъ: *Доброй, доброй Бояринъ и отецъ нашъ! мы пьемъ за твое здоровье! Сколько капель въ нашихъ чаркахъ, столько тѣ живи благополучно!* Они пили, и благодарныя слезы ихъ капали на бѣлую скатерть.

Таковъ былъ Бояринъ Матвѣй, вѣрный слуга Царской, вѣрный другъ человѣчества. Уже минуло ему шестьдесятъ лѣтъ; уже кровь медленнѣе обращалась въ жилахъ его; уже тихое трепетаніе сердца возвѣщало наступленіе жизненнаго вечера и приближеніе ночи — но доброму ли бояться сего густаго непроницаемаго мрака, въ которомъ теряются дни человѣческіе? Ему ли страшиться сего тѣнистаго пути, когда съ нимъ доброе сердце его, когда съ нимъ добрыя дѣла его. Онъ идетъ впередъ безтрепетно, наслаждается послѣдними лучами заходящаго свѣтила, обращаетъ покойной взоръ на прошедшее, и съ радостнымъ — хотя темнымъ, но не менѣе того радостнымъ предчувствіемъ заноситъ ногу въ оную не-

---

<sup>1)</sup> Въ истинѣ сего увѣрялъ меня не одинъ старой человѣкъ. *Прим. авт.*

извѣстность. — Любовь народная, милость Царская были наградою добродѣтелей стараго Боярина; но вѣнцемъ его счастья и радостей была любезная Наталья, единственная дочь его. Уже давно оплакалъ онъ мать ея, которая заснула вѣчнымъ сномъ въ его объятіяхъ; но кипарисы супружеской любви покрылись цвѣтами любви родительской—въ юной Натальѣ увидѣлъ онъ новой образъ умершей, и, вмѣсто горькихъ слезъ печали, возсіяли въ глазахъ его сладкія слезы нѣжности. Много цвѣтовъ въ полѣ, въ рощахъ и на лугахъ зеленыхъ; но нѣтъ подобнаго розѣ, роза всѣхъ прекраснѣе: много было красавицъ въ Москвѣ бѣлокаменной, ибо царство Русское искони почиталось жилищемъ красоты и пріятностей; но никакая красавица не могла сравняться съ Натальею — Наталья была всѣхъ прелестнѣе. Пусть читатель вообразить себѣ бѣлизну Италіанскаго мрамора и Кавказскаго снѣга: онъ все еще не вообразить бѣлизны лица ея—и представя себѣ цвѣтъ Зефировой любовницы, все еще не будетъ имѣть совершеннаго понятія объ алости щекъ Натальиныхъ. Я боюсь продолжать сравненіе, чтобы не наскучить читателю повтореніемъ извѣстнаго, ибо въ наше роскошное время весьма истощился магазинъ питическихъ уподобленій красоты, и не одинъ писатель съ досады кусаетъ перо свое, ища и не находя новыхъ. Довольно знать и того, что самые богомольные старики, видя Боярскую дочь у обѣдни, забывали класть земные поклоны, и самыя пристрастныя матери отдавали ей преимущество передъ своими дочерами. Сократъ говорилъ, что красота тѣлесная бываетъ всегда изображеніемъ душевной. Намъ должно повѣрить Сократу, ибо онъ былъ, во первыхъ, искуснымъ ваятелемъ (слѣдственно зналъ принадлежности красоты тѣлесной), а во вторыхъ, мудрецомъ или любителемъ мудрости (слѣдственно зналъ хорошо красоту душевную). По крайней мѣрѣ наша прелестная Наталья имѣла прелестную душу, была нѣжна какъ горлица, невинна какъ агнецъ, мила какъ Май мѣсяцъ; однимъ словомъ, имѣла всѣ свойства благовоспитанной дѣвушки, хотя Русскіе не читали тогда ни Локка

о воспитаніи, ни Руссова *Эмilia*—во первыхъ, для того, что сихъ Авторовъ еще и на свѣтѣ не было, а во вторыхъ и потому, что худо знали грамотѣ — не читали и воспитывали дѣтей своихъ, какъ Натура воспитываетъ травки и цвѣточки, то есть, поили и кормили ихъ, оставляя все прочее на произволь Судьбы; но сія Судьба была къ нимъ милостива, и за довѣренность, которую имѣли они къ ея всемогуществу, награждала ихъ почти всегда добрыми дѣтьми, утѣшеніемъ и подпорою ихъ старыхъ дней.

Одинъ великой Психологъ, котораго имени я право не упомяну, сказалъ, что описаніе дневныхъ упражненій чловека есть вѣрнѣйшее изображеніе его сердца. По крайней мѣрѣ я такъ думаю, и съ дозволенія моихъ любезныхъ читателей опишу, какъ Наталья, Боярская дочь, проводила время свое отъ восхода до заката краснаго солнца. Лишь только первые лучи сего великолѣпнаго свѣтила показывались изъ-за утренняго облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое золото: красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои, и перекрестившись бѣлою атласною, до нѣжнаго локтя обнаженною рукою, вставала, надѣвала на себя тонкое шелковое платьѣ, камчатную тѣлогрѣю, и съ распущенными темнорусыми волосами подходила къ круглому окну высокаго своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой Натуры—взглянуть на златоглавую Москву, съ которой лучезарной день снималъ туманный покровъ ночи, и которая, подобно какой нибудь огромной птицѣ, пробужденной гласомъ утра, въ вѣяніи вѣтерка страхивала съ себя блестящую росу—взглянуть на Московскія окрестности, на мрачную, густую, необозримую Марьину рощу, которая какъ сизый, кудрявый дымъ терялась отъ глазъ въ неизмѣримомъ отдаленіи, и гдѣ жили тогда всѣ дикіе звѣри сѣвера; гдѣ страшной ревъ ихъ заглушалъ мелодіи птицъ поющихъ. Съ другой стороны, являлись Натальину взору сверкающіе изгибы Москвы-рѣки, цвѣтушія поля и дымящіеся деревни, откуда съ веселыми пѣснями выѣзжали трудолюби-

вые поселяне на работы свои — поселяне, которые и по сіе время ни въ чемъ не перемѣнились, такъ же одѣваются, такъ же живутъ и работаютъ, какъ прежде жили и работали, и среди всѣхъ измѣненій и личинъ представляютъ намъ еще истинную Русскую физиогномію. Наталья смотрѣла, опершись на окно, и чувствовала въ сердцѣ своемъ тихую радость; не умѣла краснорѣчиво хвалить Натуры, но умѣла ея наслаждаться; молчала и думала: *какъ хороша Москва блокаменная! какъ хороши ея окрестности!* Но того не думала Наталья, что сама она въ утреннемъ своемъ нарядѣ была всего прекраснѣе. Она будила свою няню, вѣрную служанку ея покойной матери. *Вставай, мама!* говорила Наталья: *скоро заблаговѣстятъ къ обѣднѣ.* Мама вставала, одѣвалась, называла свою барышню раннею птичкою, умывала ее ключевою водою, чесала ея длинные волосы бѣлымъ костянымъ гребнемъ, заплетала ихъ въ косу, и украшала голову нашей прелестницы жемчужною повязкою. Такимъ образомъ снарядившись, дожидались онѣ благовѣста, и заперевъ замкомъ свѣтлицу свою (чтобы въ отсутствіе ихъ не закрался въ нее какойнибудь не доброй человѣкъ), отправлялись къ обѣднѣ. „Всякой день?“ спросить читатель. Конечно — таковъ былъ въ старину обычай—и развѣ зимою одна жестокая вьюга, а лѣтомъ проливной дождь съ грозой могли тогда удержать красную дѣвицу отъ исполненія сей набожной обязанности. Становясь всегда въ уголкѣ трапезы, Наталья молилась Богу съ усердіемъ, и между тѣмъ изъ подлобья посматривала на право и на лѣво. Въ старину не было ни клубовъ, ни маскарадовъ, куда нынѣ ѣздить себя казать и другихъ смотрѣть: и такъ гдѣ же, какъ въ церкви, могла тогда любопытная дѣвушка поглядѣть на людей? Послѣ обѣдни Наталья раздавала всегда нѣсколько копѣекъ бѣднымъ людямъ, и приходила къ своему родителю съ нѣжною любовію цѣловать его руку. Старецъ плакалъ отъ радости, видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милѣе, и не зналъ, какъ благодарить Бога за такой неоцѣненный даръ, за такое сокро-

вище. Наталья садилась подлѣ него, или шить въ пальцахъ, или плести кружево, или сучить шелкъ, или низать ожерелье. Нѣжный родитель хотѣлъ смотрѣть на работу ея, но вмѣсто того смотрѣлъ на нее самое, и наслаждался безмолвнымъ умиленіемъ. Читатель, знаешь ли ты по собственному опыту родительскія чувства? Еслии нѣтъ, то вспомни по крайней мѣрѣ, какъ любовались глаза твои пестрою гвоздичкою или бѣленькимъ ясиномъ, тобою посаженнымъ; съ какимъ удовольствіемъ разсматривалъ ты ихъ краски и тѣни, и сколь радовался мыслию: *это мой цвѣтокъ; я посадилъ его и вырастилъ!* вспомни, и знай, что отцу еще веселѣе смотрѣть на милую дочь, и веселѣе думать: *она моя!*—Послѣ Русскаго сытнаго обѣда Бояринъ Матвѣй ложился отдыхать, а дочь свою съ ея мамою отпускалъ гулять или въ садъ, или на большой зеленый лугъ, гдѣ нынѣ возвышаются *Красныя ворота* съ трубящею славою. Наталья рвала цвѣты, любовалась летающими бабочками, питалась благоуханіемъ травъ, возвращалась домой весела и покойна, и принималась снова за рукодѣлье. Наступалъ вечеръ—новое гулянье, новое удовольствие; иногда же юныя подруги приходили дѣлать съ нею часы прохлады и разговаривать о всякой всячинѣ. Самъ доброй Бояринъ Матвѣй бывалъ ихъ собесѣдникомъ, еслии государственныя или нужныя домашнія дѣла не занимали его времени. Сѣдая борода его не пугала молодыхъ красавицъ; онъ умѣлъ забавлять ихъ пріятнымъ образомъ, и рассказывалъ имъ приключенія благочестиваго Князя Владимира и могучихъ богатырей Россійскихъ.

Зимою, когда нельзя было гулять ни въ саду, ни въ полѣ, Наталья каталась въ саняхъ по городу, и ѣздила по вечеринкамъ, на которыя собирались однѣ дѣвушки тѣшиться и веселиться и невиннымъ образомъ сокращать время. Тамъ мамы и няни выдумывали для своихъ барышенъ разныя забавы; играли въ жмурки, прятались, хоронили золото, пѣли пѣсни, рѣзвились, не нарушая благопристойности, и смѣялись безъ насмѣшекъ, такъ что скромная и цѣло-

мудренная Дриада могла бы всегда присутствовать на сихъ вечеринкахъ. Глубокая полночь разлучала дѣвушекъ, и прелестная Наталья въ объятіяхъ мрака наслаждалась покойнымъ сномъ, которымъ всегда юная невинность наслаждается.

Такъ жила Боярская дочь, и семнадцатая весна жизни ея наступила; травка зазеленѣлась, цвѣты расцвѣли въ полѣ, жаворонки запѣли — и Наталья, сидя поутру въ свѣтлицѣ своей подъ окномъ, смотрѣла въ садъ, гдѣ съ кусточка на кусточекъ порхали птички, и нѣжно лобызаясь своими маленькими носиками, прятались въ густоту листьевъ. Красавица въ первой разъ замѣтила, что они летали парами—сидѣли парами, и скрывались парами. Сердце ея какъ будто бы вздрогнуло—какъ будто бы какой нибудь чародѣй дотропулся до него волшебнымъ жезломъ своимъ! Она вздохнула—вздохнула въ другой и въ третій разъ—посмотрѣла вокругъ себя — увидѣла, что съ нею никого не было, никого, кромѣ старой няни (которая дремала въ углу горницы на красномъ весеннемъ солнышкѣ)—опять вздохнула, и вдругъ бриллиантовая слеза сверкнула въ правомъ глазѣ ея, — потомъ и въ лѣвомъ—и обѣ выкатились—одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щекѣ, въ маленькой нѣжной ямкѣ, которая у милыхъ дѣвушекъ бываетъ знакомъ того, что Купидонъ цѣловалъ ихъ при рожденіи. Наталья подгорюнилась — чувствовала нѣкоторую грусть, нѣкоторую томность въ душѣ своей; все казалось ей не такъ, все не ловко; она встала и опять сѣла — наконецъ, разбудивъ свою маму, сказала ей, что сердце у нее тоскуетъ. Старушка начала крестить милую свою барышню, и съ нѣкоторыми *набожными оговорками* <sup>1)</sup> бранить того человѣка, которой взглянулъ на прекрасную Наталью не чистымъ глазомъ, или похвалилъ ея прелести не чистымъ языкомъ, не отъ чистаго сердца, не въ добрый часъ: ибо старушка была увѣрена, что ее сглазили,

---

<sup>1)</sup> Наприм. *прости Господи*, и прочее тому подобное, что можно еще слышать и отъ нынѣшнихъ нянюшекъ. *Прим. Карамзина.*

сей разъ примѣтливѣе и не дождавшись еще ни слова отъ Натальи, начала говорить о незнакомомъ красавцѣ, которой провожалъ ихъ отъ церкви. Она хвалила его съ великимъ жаромъ; доказывала, что онъ похожъ на ея покойнаго сына; не сомнѣвалась въ знатномъ родѣ его, и желала барышнѣ своей такого супруга. Наталья радовалась, краснѣлась, задумывалась, отвѣчала: *да! нѣтъ!* и сама не знала, что отвѣчала.

На другой, на третій день опять ходили къ обѣднѣ; видѣли, кого видѣть желали—возвращались домой, и у воротъ говорили нѣжнымъ взоромъ: *прости!* Но сердце красной дѣвочки есть удивительная вещь: чѣмъ оно довольно нынѣ, тѣмъ не довольно завтра—все болѣе и болѣе, и желаніямъ конца нѣтъ. Такимъ образомъ и Наталья показалось уже мало того, чтобы смотрѣть на прекраснаго незнакомца и видѣть нѣжность въ глазахъ его; ей захотѣлось слышать его голосъ, взять его за руку, быть поближе къ его сердцу, и проч. Что дѣлать? какъ быть? Такія желанія искоренять трудно; а когда они не исполняются, красавицѣ бываетъ грустно.—Наталья опять принялась за слезы. Судьба, Судьба! ужели ты не сжалишься надъ нею? Уже ли захочешь, чтобы свѣтлые глаза ея отъ слезъ померкли?—Посмотримъ, что будетъ.

Однажды передъ вечеромъ, когда Боярина Матвѣя не было дома, Наталья увидѣла въ окно, что калитка ихъ растворилась—вошелъ человѣкъ въ голубомъ кафтанѣ, и работа выпала изъ рукъ Натальиныхъ — ибо сей человѣкъ былъ прекрасной незнакомецъ. *Няня!* сказала она слабымъ голосомъ: *кто это?* Няня посмотрѣла, улыбнулась и вышла вонъ.

„Онъ здѣсь! няня усмѣхнулась; пошла къ нему, вѣрно къ нему—ахъ, Боже мой! что будетъ?“ думала Наталья, смотрѣла въ окно и видѣла, что молодой человѣкъ вошелъ уже въ сѣни. Сердце ея летѣло къ нему на встрѣчу; но робость говорила ей: *останься!* Красавица повиновалась сему послѣднему голосу, только съ мучительнымъ принужденіемъ, съ ве-

что же увидѣла? Прекрасной, молодой человѣкъ, въ голу-  
комъ кафтанѣ съ золотыми пуговицами, стоялъ тамъ, какъ  
царь среди всѣхъ прочихъ людей, и блестящій, пронизатель-  
ный взоръ его встрѣтился съ ея взоромъ. Наталья въ одну  
секунду вся покраснѣлась, и сердце ея, затрепетавъ сильно,  
сказало ей: *вотъ онъ!*.. Она потупила глаза свои, но не на-  
долго; снова взглянула на красавца, снова запылала въ лицѣ  
своемъ, и снова затрепетала въ своемъ сердцѣ. Ей казалось,  
что любезной призракъ, который ночью и днемъ прельщалъ  
ея воображеніе, былъ не что иное, какъ образъ сего моло-  
даго человѣка — и потому она смотрѣла на него, какъ на  
своего милаго знакома. Новый свѣтъ возсіялъ въ душѣ ея,  
какъ будто бы пробужденной явленіемъ солнца, но еще не  
пришедшей въ себя послѣ многихъ несвязныхъ и замѣшен-  
ныхъ сновидѣній, волновавшихъ ее въ теченіе долгой ночи.

Читатель долженъ знать, что мысли красныхъ дѣвушекъ  
бываютъ очень быстры, когда въ сердцѣ у нихъ начинается  
ворошиться то, чего онѣ долго не называютъ именемъ, и что  
Наталья въ сіи минуты чувствовала. Обѣдня показалась ей  
очень коротка. Няня десять разъ дергала ее за камчатную  
тѣлогрѣю, и десять разъ говорила ей: *пойдемъ, барышня,*  
*все кончилось.* Но барышня все еще не трогалась съ мѣста,  
для того что и прекрасной незнакомецъ стоялъ какъ вкопан-  
ной подлѣ лѣваго крылоса; они посматривали другъ на  
друга, и тихонько вздыхали. Старая мама, по слабости зрѣ-  
нія своего, ничего не видала, и думала, что Наталья чи-  
таетъ про себя молитвы и для того нейдетъ изъ церкви. На-  
конецъ дьячекъ загремѣлъ ключами: тутъ красавица опомни-  
лась, и видя, что церковь хотятъ запираютъ, пошла къ две-  
рямъ; а за нею и молодой человѣкъ — она влѣво, онъ на-  
право. Наталья раза два обступилась; раза два роняла пла-  
токъ, и должна была ворочаться назадъ; незнакомецъ оправ-  
лялъ кушакъ свой, стоялъ на одномъ мѣстѣ, смотрѣлъ — на  
красавицу, и все еще не надѣвалъ бобровой шапки своей,  
хотя на дворѣ было холодно.

Наталя пришла домой, и ни о чемъ больше не думала, какъ о молодомъ человѣкѣ въ голубомъ кафтанѣ съ золотыми пуговицами. Она была не печальна, однакожъ и не очень весела, подобно такому человѣку, который наконецъ узналъ, въ чемъ состоитъ его блаженство, но имѣетъ еще слабую надежду имъ насладиться. За обѣдомъ она не ѣла по обыкновенію всѣхъ влюбленныхъ — ибо для чего не сказать намъ прямо и просто, что Наталя влюбилась въ незнакомца. „Въ одну минуту?“ (скажетъ читатель:) „увидѣвъ въ первый разъ и не слыхавъ отъ него ни слова?“ Милостивые государи! я рассказываю, какъ происходило самое дѣло: не сомнѣвайтесь въ истинѣ, не сомнѣвайтесь въ силѣ того взаимнаго влеченія, которое чувствуютъ два сердца, другъ для друга сотворенныя! А кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь, и не читай нашей исторіи, которая сообщается только для однѣхъ чувствительныхъ душъ, имѣющихъ сію сладкую вѣру.

Когда Бояринъ Матвѣй послѣ обѣда заснулъ — (не на Вольтеровскихъ креслахъ, такъ, какъ нынѣ спятъ Бояре, а на широкой дубовой лавкѣ) — Наталя пошла съ нянею въ свѣтлицу свою, сѣла подъ любимымъ окномъ, вынула изъ кармана бѣлой платокъ, хотѣла что-то сказать, но раздумала—взглянула на окончины, расписанныя морозомъ—оправила жемчужную повязку на головѣ своей, и потомъ, смотря себѣ на колѣни, тихимъ и немного дрожащимъ голосомъ спросила у няни, каковъ показался ей молодой человѣкъ, бывшій у обѣдни? Старушка не понимала, о комъ говорить она. Надлежало изъясниться; но легко ли это для стыдливой дѣвушки? *Я говорю о томъ*, продолжала Наталя — *о томъ, которой — которой былъ всѣхъ лучше*. Няня все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать, что онъ стоялъ подлѣ лѣваго крылоса, и вышелъ изъ церкви за ними. „Я не примѣтила его“ — холодно отвѣчала старушка, и Наталя тихонько пожала прекрасными своими плечиками, удивляясь, какъ можно было его не примѣтить!

На четвертой день Наталья опять пошла къ обѣднѣ, не смотря ни на слабость свою, ни на жестокой морозъ, ни на то, что Бояринъ Матвѣй, примѣтивъ наканунѣ необыкновенную блѣдность ея лица, просилъ ее беречь себя и не выходить со двора въ холодное время. Еще никого не было въ церкви. Красавица, стоя на своемъ мѣстѣ, смотрѣла на двери. Вошелъ первый человѣкъ—не онъ! вошелъ другой—не онъ! третій, четвертой—все не онъ! вошелъ пятой, и всѣ жилки затрепетали въ Натальѣ—это онъ, тотъ красавецъ, котораго образъ навсегда въ душѣ ея впечатлѣлся! Отъ сильнаго внутренняго волненія она едва не упала, и должна была опереться на плечо няни своей. Незнакомецъ поклонился на всѣ четыре стороны, а ей особливо, и притомъ гораздо ниже и почтительнѣе, нежели прочимъ. Томная блѣдность изображалась на его лицѣ, но глаза его сіяли еще свѣтлѣе прежняго; онъ смотрѣлъ почти безпрестанно на прелестную Наталью (которая отъ нѣжныхъ чувствъ стала еще прелестнѣе), и вздыхалъ такъ неосторожно, что она примѣтила движеніе груди его, и не взирая на свою скромность, угадывала причину. Любовь, надеждою оживляемая, алкала въ сію минуту на щекахъ милой нашей красавицы; любовь сіяла въ ея ворахъ; любовь билась въ ея сердцахъ; любовь подымала руку ея, когда она крестилась.—Часъ обѣдни былъ для нее одною блаженною секундою. Всѣ стали выходить изъ церкви; она вышла послѣ всѣхъ, а съ нею и молодой человѣкъ. Вмѣсто того, чтобы итти опять въ другую сторону, онъ пошелъ уже слѣдомъ за Натальею, которая поглядывала на него и черезъ правое и черезъ лѣвое плечо свое. Чудное дѣло! любовники никогда не могутъ насмотрѣться другъ на друга, подобно какъ алчной корыстолюбецъ не можетъ никогда насытиться золотомъ.—У воротъ Боярскаго дому Наталья въ послѣдній разъ взглянула на красавца, и нѣжнымъ взоромъ сказала ему: *прости, милой незнакомецъ!* Калитка хлопнула, и Наталья слышалось, что молодой человѣкъ вздохнулъ; по крайней мѣрѣ она сама вздохнула.—Старушка няня была на

сей разъ примѣтливѣе и не дождавшись еще ни слова отъ Натальи, начала говорить о незнакомомъ красавцѣ, которой провожалъ ихъ отъ церкви. Она хвалила его съ великимъ жаромъ; доказывала, что онъ похожъ на ея покойнаго сына; не сомнѣвалась въ знатномъ родѣ его, и желала барышнѣ своей такого супруга. Наталья радовалась, краснѣлась, задумывалась, отвѣчала: *да! нѣтъ!* и сама не знала, что отвѣчала.

На другой, на третій день опять ходили къ обѣднѣ; видѣли, кого видѣть желали—возвращались домой, и у воротъ говорили нѣжнымъ взоромъ: *прости!* Но сердце красной дѣвочки есть удивительная вещь: чѣмъ оно довольно нынѣ, тѣмъ не довольно завтра—все болѣе и болѣе, и желаніямъ конца нѣтъ. Такимъ образомъ и Наталья показалось уже мало того, чтобы смотрѣть на прекраснаго незнакомца и видѣть нѣжность въ глазахъ его; ей захотѣлось слышать его голосъ, взять его за руку, быть поближе къ его сердцу, и проч. Что дѣлать? какъ быть? Такія желанія искоренять трудно; а когда они не исполняются, красавицѣ бываетъ грустно.—Наталья опять принялась за слезы. Судьба, Судьба! ужели ты не сжалишься надъ нею? Уже ли захочешь, чтобы свѣтлые глаза ея отъ слезъ померкли?—Посмотримъ, что будетъ.

Однажды передъ вечеромъ, когда Боярина Матвѣя не было дома, Наталья увидѣла въ окно, что калитка ихъ растворилась—вошелъ человѣкъ въ голубомъ кафтанѣ, и работа выпала изъ рукъ Натальиныхъ — ибо сей человѣкъ былъ прекрасной незнакомецъ. *Няня!* сказала она слабымъ голосомъ: *кто это?* Няня посмотрѣла, улыбнулась и вышла вонъ.

„Онъ здѣсь! няня усмѣхнулась; пошла къ нему, вѣрно къ нему—ахъ, Боже мой! что будетъ?“ думала Наталья, смотрѣла въ окно и видѣла, что молодой человѣкъ вошелъ уже въ сѣни. Сердце ея летѣло къ нему на встрѣчу; но робость говорила ей: *останься!* Красавица повиновалась сему послѣднему голосу, только съ мучительнымъ принужденіемъ, съ ве-

ликою тоскою: ибо всего несноснѣе противиться влеченію своего сердца. Она вставала, ходила, бралась за то и за другое, и четверть часа показались ей годомъ. Наконецъ дверь растворилась, и скрипъ ея потрясъ Натальину душу. Вошла няня—взглянула на барышню, улыбнулась, и—не сказала ни слова. Красавица также не начинала говорить, и только однимъ робкимъ взоромъ спрашивала: *что, няня? что?* Старушка какъ будто бы веселилась ея смущеніемъ, ея нетерпѣніемъ—долго молчала, и спустя уже нѣсколько минутъ, сказала ей: „знаешь ли, барышня, что этотъ молодой человѣкъ боленъ?“—*Боленъ? чѣмъ?* спросила Наталья, и цвѣтъ въ лицѣ ея перемѣнился.— „Очень боленъ, продолжала няня: у него такъ болитъ сердце, что бѣдной не можетъ ни пить ни ѣсть, блѣденъ какъ полотно, и насилу ходитъ. Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту болѣзнь, и для того онъ прибѣлелъ ко мнѣ, плачетъ горькими слезами, и проситъ, чтобъ я помогла ему. Повѣришь ли, барышня, что у меня слезы на глазахъ навернулись? Такая жалость!“—„Что же, няня? дала ли ты ему лекарство!“—„Нѣтъ; я велѣла подождать“.—„Подождать? гдѣ?“— „Въ нашихъ сѣняхъ“.—„Можно ли? Тамъ превеликой холодъ; со всѣхъ сторонъ несетъ, а онъ боленъ!“— „Чтожь мнѣ дѣлать? Внизу у насъ такой чадъ, что онъ можетъ угорѣть до смерти: кудажь его ввести, пока изготавлю лекарство? Развѣ сюда? Развѣ прикажешь ему войти въ теремъ? Это будетъ доброе дѣло, барышня; онъ человѣкъ честной — станетъ за тебя Богу молиться, и никогда не забудетъ твоей милости. Теперь же батюшки нѣтъ дома—сумерки, темно — никто не увидитъ, и бѣды никакой нѣтъ: вѣдь только въ сказкахъ мучины бываютъ страшны для красныхъ дѣвушекъ! Какъ думаешь, сударыня?“ Наталья (не знаю, отъ чего) дрожала, и прерывающимся голосомъ отвѣчала ей: *я думаю.... какъ хочешь... ты лучше моего знаешь.* Тутъ няня отворила дверь—и молодой человѣкъ бросился къ ногамъ Натальинимъ. Молодой человѣкъ началъ говорить—не языкомъ романовъ, но языкомъ истинной чувствительности; сказалъ простыми, нѣж-

ными, страстными словами, что онъ увидѣлъ и полюбилъ ее, полюбилъ такъ, что не можетъ быть щастливъ и не хочетъ жить безъ взаимной ея любви. Красавица молчала; только сердце и взоры говорили—но недовѣрчивой незнакомецъ желалъ еще словеснаго подтвержденія, и стоя на колѣняхъ, спросилъ у нее: „Наталя, прекрасная Наталя! любишь ли меня? Твой отвѣтъ рѣшить судьбу мою: я могу быть щастливѣйшимъ человѣкомъ на свѣтѣ, или шумящая Москва-рѣка будетъ гробомъ моимъ“.—Ахъ, барышня! сказала жалостливая няня: отвѣчай скорѣе, что онъ тебѣ нравенъ! уже ли захочешь погубить его душу?—*Ты милъ сердцу моему*, произнесла Наталя нѣжнымъ голосомъ, положивъ руку на плечо его. *Дай Богъ*, примолвила она, поднявъ глаза на небо, и обративъ ихъ снова на восхищеннаго незнакомца—*дай Богъ, чтобы я была столько же мила тебѣ!* Они обняли другъ друга.

Послѣ первыхъ минутъ нѣмага восторга молодой человѣкъ, смотря на красавицу, залился слезами. *Ты плачешь?* сказала Наталя нѣжнымъ голосомъ, приклонивъ голову свою къ его плечу. — „Ахъ! я долженъ открыть тебѣ мое сердце, прелестная Наталя! <sup>1)</sup> отвѣчалъ онъ: оно еще не совершенно увѣрено въ своемъ щастіи“.—*Чтожъ ему надобно?* спросила Наталя, и съ нетерпѣніемъ ожидала отвѣта. — „Объщай, что ты исполнишь мое требованіе“. — *Скажи, скажи, что такое? Исполню, все сдѣлаю, что велишь мнѣ!*—Въ нынѣшнюю ночь, когда зайдетъ мѣсяцъ—въ то время, какъ поютъ первые пѣтухи—я приѣду въ саняхъ къ вашимъ воротамъ; ты должна ко мнѣ выйти и ѣхать со мною, вотъ чего отъ тебя требую!“—*Ѣхать? въ нынѣшнюю ночь? куда?*—„Сперва въ церковь, гдѣ мы обвѣнчаемся; а потомъ туда, гдѣ я живу“. — *Какъ? безъ вѣдома отца моего? безъ его благословенія?*—Безъ его вѣдома,

---

<sup>1)</sup> Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсѣмъ такъ, какъ здѣсь говорятъ они; но тогдашняго языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только *нѣкоторымъ* образомъ поддѣлаться подъ древній колоритъ. *Прим. авт.*

безъ его благословенія, или я погибъ!“— *Боже мой!... Сердце у меня замерло. Ухватъ тихонько изъ дому родительскаго! Что же будетъ съ батюшкою? Онъ умретъ съ горя, и на души моей останется страшной грѣхъ. Милой другъ! для чего намъ не броситься къ ногамъ его? Онъ полюбитъ тебя; благословитъ и самъ отпуститъ насъ въ церковь.* — Мы бросимся къ ногамъ его, но черезъ нѣкоторое время. Теперь онъ не можетъ согласиться на бракъ нашъ. Самая жизнь моя будетъ въ опасности, когда меня узнаютъ.“— *Когда тебя узнаютъ? тебя, милого души моей?... Боже мой! какъ люди злы, если ты говоришь правду! Только я не могу повѣрить. Скажи мнѣ, какъ тебя зовутъ?— „Алексѣемъ?“— Алексѣемъ? Я всегда любила это имя. Чтожъ быдѣ, если тебя узнаютъ?— „Все будетъ тебѣ извѣстно, когда ты согласишься сдѣлать меня щастливымъ. Прелестная, милая Наталья! время проходить; мнѣ нельзя быть долѣе съ тобою. Чтобы родитель твой, котораго я самъ люблю и почитаю за добрыя дѣла его—чтобы родитель твой не сокрушался и не почиталъ дочери своей погибшею, я напишу къ нему письмо, и увѣдомлю, что ты жива, и что онъ можетъ скоро увидѣть тебя. Скажи, скажи, чего ты хочешь: жизни моей или смерти?“— При сихъ словахъ, произнесеннымъ твердымъ голосомъ, онъ всталъ, и смотрѣлъ огненными, пламенными глазами на красавицу. „Ты меня спрашиваешь?“ сказала она съ чувствительностію: „развѣ я не обѣщала тебѣ повиноваться? Съ самаго младенчества привыкла я любить моего родителя, потому что и онъ любить меня, очень, очень любить—(тутъ Наталья обтерла платкомъ слезы свои, которыя одна за другою капали изъ глазъ ея)—тебя знаю не давно, а люблю еще больше: какъ это случилось, не знаю.“—Алексѣй обнялъ ее съ новымъ восхищеніемъ, снялъ золотой перстень съ руки своей, надѣлъ его на руку Натальѣ, сказалъ: *ты моя!* и скрылся какъ молнія. Старушка няня проводила его со двора.*

На правой сторонѣ дороги, вдали, свѣтился огонекъ: туда поворотили, и Наталья увидѣла деревянную, низенькую цер-

ковъ, занесенную снѣгомъ. Алексѣй — (читатель не забылъ имени молодаго человѣка) — Алексѣй ввелъ любовницу свою во внутренность сего ветхаго храма, освѣщеннаго одною маленькою, слабо горящею лампадою. Тамъ встрѣтилъ ихъ старой священникъ, согбенный бременемъ лѣтъ, и дрожащимъ голосомъ сказалъ имъ: „я долго ждалъ васъ, любезныя дѣти! внукъ мой уже заснулъ.“ Онъ разбудилъ мальчика, въ углу церкви спавшаго; поставилъ любовниковъ передъ налой и началъ ихъ вѣнчать. Мальчикъ читалъ, пѣлъ, что надобно; съ удивленіемъ глядѣлъ на жениха и невѣсту, и дрожалъ при всякомъ порывѣ вѣтра, которой шумѣлъ въ худое окно церкви. Алексѣй и Наталья молились усердно, и произнося обѣтъ свой, смотрѣли другъ на друга съ умиленіемъ и сладкими слезами. По совершеніи обряда престарѣлый священникъ сказалъ новобрачнымъ: *Я не знаю и не спрашиваю, кто вы; но именемъ великаго Бога, Котораго намъ и мракъ ночи и шумъ бури проповѣдуетъ* — (въ сіе мгновеніе страшно зашумѣлъ вѣтеръ) — *именемъ Непостижимаго, ужаснаго для злыхъ, для добрыхъ милосердаго, обѣщаю вамъ благоденствіе въ жизни, естли вы будете всегда любить другъ друга: ибо любовь супружеская есть любовь святая, Божеству пріятная, и кто соблюдаетъ ее въ чистомъ сердцѣ — въ нечистомъ же она жить не можетъ—тотъ пріятенъ Всевышнему. Грядите съ миромъ, и помните слова мои!* Новобрачные приняли благословеніе отъ старца, поцѣловали руку его, поцѣловали другъ друга, вышли изъ церкви и поѣхали.

Вѣтеръ заносилъ дорогу; но рѣзвые кони летѣли какъ молніи — ноздри ихъ дымились, паръ вился столбомъ, и пушистой снѣгъ отъ копытъ ихъ подымался вверхъ облаками. Скоро путешественники наши выѣхали въ темноту лѣса, гдѣ совсѣмъ не было дороги. Старушка няня дрожала отъ страха; но прекрасная Наталья, чувствуя подлѣ себя милого друга, ничего не боялась. Молодой супругъ отводилъ рукою всѣ вѣтви и сучья, которые грозили уколоть бѣлое лицо супруга его. Онъ держалъ ее въ своихъ объятіяхъ, когда сани опу-

скались во глубину сугробовъ, и жаркими поцѣлуями удалялъ холодъ отъ нѣжныхъ розъ, которыя цвѣли на устахъ ея. Около четырехъ часовъ ѣздили они по лѣсу, пробираясь сквозь ряды высокихъ деревь. Уже лошади начинали утомляться, и съ трудомъ вытаскивали ноги свои изъ глубинъ снѣжныхъ; сани двигались медленно, и наконецъ Наталья, пожавъ руку своего любезнаго, тихимъ голосомъ спросила у него: *скоро ли мы придемъ?* Алексѣй посмотрѣлъ вокругъ себя, на вершины деревь, и сказалъ, что жилище его не далеко. Въ самомъ дѣлѣ черезъ нѣсколько минутъ выѣхали они на узкую равнину, гдѣ стоялъ маленькій домикъ, обнесенный высокимъ заборомъ. На встрѣчу имъ вышли пять или шесть человѣкъ съ пучками зажженной лучины и вооруженные длинными ножами, которые висѣли у нихъ на кушакахъ. Старушка няня, видя сіе дикое, уединенное жилище, посреди непроходимаго лѣса, видя сихъ вооруженныхъ людей и примѣтивъ на лицахъ ихъ нѣчто суровое и свирѣпое, пришла въ ужасъ, сплеснула руками и закричала: *ахти! мы пошибли! мы въ рукахъ — у разбойниковъ.*

Теперь могъ бы я представить страшную картину глазамъ читателей—прельщенную невинность, обманутую любовь, несчастную красавицу во власти варваровъ, убійцъ—женою атамана разбойниковъ, свидѣтельницею ужасныхъ злодѣйствъ, и наконецъ, послѣ мучительной жизни, издыхающую на эшафотѣ подъ сѣкирою правосудія, въ глазахъ несчастнаго родителя; могъ бы представить все сіе вѣроятнымъ, естественнымъ, и чувствительной человѣкъ пролилъ бы слезы горести и скорби—но въ такомъ случаѣ я удался бы отъ исторической истины, на которой основано мое повѣствованіе. Нѣтъ, любезной читатель, нѣтъ! на сей разъ побереги слезы свои—успокойся—старушка няня ошиблась — Наталья не у разбойниковъ!

Алексѣй самъ говорить началъ. „Любезная Наталья! скажь онъ: тайна жизни моей должна тебѣ открыться. Воля Всевышняго соединила насъ навѣки; ничто уже не можетъ

разорвать союза нашего. Супругъ не долженъ ничего скрывать отъ супруги своей. И такъ, знай, что я сынъ несчастнаго Боярина Любославскаго.“ — — — *Любославскаго? Возможно ли? Батюшка сказывалъ мнѣ, что онъ пропалъ безъ вѣсти.* — „Его уже нѣтъ на свѣтѣ! Выслушай.—Ты не помнишь, но конечно слыхала о тѣхъ волненіяхъ и бунтахъ, которые лѣтъ за тринадцать передъ симъ возмущали спокойствіе нашего царства. Нѣкоторые изъ знатнѣйшихъ честолюбивыхъ Бояръ возстали противъ законной власти юнаго Государя; но скоро гнѣвъ Божеской наказалъ мятежниковъ—разсѣялись какъ прахъ многочисленные ихъ сообщники, и кровь главныхъ бунтовщиковъ пролилась на лобномъ мѣстѣ. Родитель мой по нѣкоторому подозрѣнію, но совершенно ложному, взять былъ подъ стражу. Онъ имѣлъ непріятелей, злыхъ и коварныхъ; представили доказательства мнимой его измѣны и согласія съ мятежниками; отецъ мой клялся въ своей невинности, но обстоятельства осуждали его, и рука вышняго судіи готова была подписать ему смерть... надежда исчезла въ душѣ невиннаго—одинъ Всевышній могъ спасти его — и спасъ. Вѣрный другъ отворилъ ему дверь темницы —и родитель мой скрылся, взявъ съ собою самыхъ усерднѣйшихъ слугъ и меня, двѣнадцатилѣтняго сына своего. Въ предѣлахъ Россіи не было для насъ безопасности: мы удалились въ ту страну, гдѣ рѣка Свіага вливается въ величественную Волгу, и гдѣ многочисленные народы поклоняются лжепророку Магомету—народы суевѣрные, но страннолюбивые. Они приняли насъ дружески, и мы около десяти лѣтъ жили съ ними; не имѣли ни въ чемъ недостатка, но безпрестанно горевали о своемъ отечествѣ; сидѣли на высокомъ берегу Волги, и смотря на ея волны, несущіяся отъ странъ Россійскихъ, проливали жаркія слезы; всякая птица, летѣвшая съ запада<sup>4)</sup>, казалась намъ милѣе; всякую птицу, на западъ летѣвшую, провожали мы глазами и—вздохами.—Между тѣмъ отецъ мой ежегодно

---

<sup>4)</sup> То есть, отъ Россіи.

посылалъ въ Москву тайнаго гонца, и получалъ письма отъ своего друга, которыя всегда подавали ему надежду, что невинность наша рано или поздно откроется, и что мы съ честію можемъ возвратиться въ отечество. Но скорбь изсушила сердце моего родителя; силы его исчезали, и глаза покрылись густымъ мракомъ. Безъ ужаса чувствовалъ онъ приближеніе конца своего—благословилъ меня — и сказавъ: *Богъ и другъ нашъ не оставятъ тебя*, умеръ въ моихъ объятіяхъ. Не буду говорить тебѣ о горести бѣднаго сироты; нѣсколько мѣсяцевъ глаза мои не просыхали. — Я увѣдомилъ друга нашего о моемъ нещастіи; въ отвѣтъ своемъ изъясняя душевную скорбь о кончинѣ невиннаго страдальца, умершаго въ странѣ иноплеменныхъ, и погребеннаго въ землѣ не Христіанской, сей благодѣтельный другъ звалъ меня въ Россію. Верстахъ въ 40 отъ Москвы (писалъ онъ), въ „дремучемъ непроходимомъ лѣсу, построилъ я уединенный домикъ, неизвѣстный никому, кромѣ меня и надежныхъ людей моихъ. Тамъ „будешь ты жить до времени въ совершенной безопасности. „Посланный знаетъ сіе мѣсто“.—Я изъяснилъ благодарностью мою гостепріимнымъ жителямъ Волжскихъ береговъ; простился съ зеленою могилою родителя моего; поцѣловалъ и оросилъ слезою каждый цвѣточекъ, каждую травку, на ней растущую; возвратился съ вѣрными слугами въ предѣлы Россіи, облобызалъ отечественную землю—и въ густотѣ темнаго лѣса, на узкой равнинѣ, нашелъ сей пустынный домикъ, гдѣ ты теперь со мною, любезная Наталья. Здѣсь встрѣтилъ меня сѣдой старецъ и сказалъ дрожащимъ голосомъ: *Ты сынъ Боярина Любославскаго. Господинъ мой—вѣрный другъ его — тотъ, кто хотѣлъ быть вторымъ отцомъ твоимъ, и строилъ для тебя сіе жилище, скончался!*—*Но онъ помнилъ о сиротѣ при кончинѣ своей. Здѣсь найдешь все нужное для жизни; найдешь сокровища: они твои.*

Я часто бывалъ въ Москвѣ, останавливаясь въ одной тихой гостинницѣ и называя себя иногороднымъ купцомъ; часто видалъ Государя, отца народнаго; часто слыхалъ о благо-

дѣянiяхъ родителя твоего, когда Бояре, собираясь на площади противъ соборной церкви, рассказывали другъ другу всѣ добрыя и похвальныя дѣла, украшавшія столицу. Возвращаясь въ пустыню, я сражался съ дикими звѣрями, которыхъ мы должны были истреблять для собственной нашей безопасности; но часто, выпуская изъ рукъ добычу, упалъ на землю и проливалъ слезы. Вездѣ было мнѣ грустно—въ пустомъ лѣсу и среди народа. Съ горестію ходилъ я по улицамъ царственнаго града, и смотря на людей, которые встрѣчались со мною, думалъ: *Они идутъ къ роднымъ и ближнимъ; ихъ дожидаются; имъ будутъ рады;—мнѣ итти не къ кому, меня никто не дожидается; никто о сиротѣ не думаетъ!* Иногда хотѣлось мнѣ броситься къ ногамъ Государя, увѣрить его въ невинности отца моего, въ моей вѣрности къ Царю благочестивому, и поручить его милосердію судьбу мою; но какая-то могущественная невидимая рука не допускала меня исполнить сего намѣренія.

„Пришла мрачная осень, пришла скучная зима; лѣсное уединеніе сдѣлалось для меня еще несноснѣе. Я чаще прежняго сталъ ѣздить въ городъ и — увидѣлъ тебя, прекрасная Наталья!

Между тѣмъ Алексѣевъ посланный возвратился въ пустыню съ извѣстіемъ, что Бояринъ Матвѣй былъ во дворцѣ Царскомъ, и что по всей Россіи велѣно искать его пропавшей дочери. Наталья хотѣла знать болѣе, и спрашивала, что написано было на лицѣ родителя ея, когда онъ шелъ изъ дворца Государева; вздыхалъ ли онъ, плакалъ ли, не произносилъ ли тихонько ея имени? Посланный не могъ отвѣчать ни *да*, ни *нѣтъ*: ибо онъ хотя и видѣлъ Боярина, но смотрѣлъ на него не проникательными глазами нѣжной дочери. *Для чего, сказала Наталья, для чего не могу я превратиться въ невидимку или въ маленькую птичку, чтобъ слетать въ Москву бѣлокаменную, взглянуть на родителя, поцѣловать руку его, выронить на нее слезу горячую, и возвратиться къ милому моему другу?—*“Ахъ, нѣтъ! я не пустилъ

бы тебя! отвѣчалъ Алексѣй: почему знать, чтобы могло съ тобою случиться? Нѣтъ, мой другъ! я не могу и вздумать о разлукѣ—а ты можешь!“ — Наталья почувствовала нѣжную укоризну, и оправдалась передъ супругомъ улыбкою, слезами и поцѣлуемъ.

Теперь надлежало бы мнѣ описывать счастье юныхъ супруговъ и любовниковъ, сокрытыхъ лѣснымъ мракомъ отъ цѣлаго свѣта; но вы, которые наслаждаетесь подобнымъ счастьемъ, скажите, можно ли описать его?—Наталья и Алексѣй, живучи въ своемъ единеніи, не видали, какъ текло или летѣло время. Часы и минуты, дни и ночи, недѣли и мѣсяцы сливались въ пустынь ихъ, какъ струи рѣчныя, не различаемыя глазомъ человѣческимъ. Ахъ! удовольствія любви бываютъ всегда одинаковы, но всегда новы и безчисленны. Наталья просыпалась и—любила; вставала съ постели и—любила; молилась и—любила; что ни думала, все любила и всѣмъ наслаждалась.—Алексѣй тоже, и чувства ихъ составляли восхитительную гармонію.

Но читатель не долженъ думать, чтобы они въ единенной жизни своей только смотрѣли другъ на друга и сидѣли отъ утра до вечера, поджавъ руки — нѣтъ! Наталья принялась за рукодѣлье, за пальцы, и скоро вышила разными шелками и разными узорами двѣ прекрасныя ширинки: первую для милаго супруга, чтобы онъ утиралъ ею бѣлое лицо свое, а другую для любезнаго родителя. *Когда нибудь мы поѣдемъ къ нему!* говорила красавица, и тихонько вздыхала. — Что принадлежитъ до Алексѣя, то онъ, сидя подлѣ своей супруги, рисовалъ перомъ разные ландшафты и картинки — любовался тѣмъ, что нравилось Натальѣ, и старался поправить то, что ей казалось несовершеннымъ. Такъ, любезный читатель! Алексѣй умѣлъ рисовать, и притомъ весьма не худо, ибо сама Природа выучила его сему искусству. Онъ видѣлъ образъ кудрявыхъ деревьевъ въ рѣкахъ прозрачныхъ, и вздумалъ означать тѣнь сію на бумагѣ; опытъ былъ удаченъ, и скоро чертежи его сдѣлались вѣрными копіями

Натуры; не только дерева, но и другіе предметы изображались имъ съ величайшею точностію. Красавица смотрѣла на движеніе руки его, и дивилась, какъ онъ могъ однѣми чертами пера своего представлять разные виды: то рощу дубовую, то башни Московскія, то дворецъ Государевъ. — Но Алексѣй уже не сражался съ дикими звѣрями: ибо они (какъ будто бы изъ уваженія къ прекрасной Натальѣ, новой обитательницѣ ихъ дремучаго лѣса) не приближались къ жилищу супруговъ, и ревѣли только въ отдаленіи.

Однажды возвратился посланный съ великою поспѣшностію. „Государь! сказалъ онъ Алексѣю: Москва въ смятеніи. „Свирѣпые Литовцы возстали на Русское Царство. Я видѣлъ, „какъ жители престольнаго града собирались передъ дворцомъ Государевымъ, и какъ Бояринъ Матвѣй, именемъ „Царя православнаго, ободрялъ воиновъ; я видѣлъ, какъ „толпы народныя бросали вверхъ шапки свои, восклицая въ „одинъ голосъ: *умремъ за Царя Государя! умремъ за отечество, или побѣдимъ Литовцевъ!* Я видѣлъ, какъ Русское „воинство въ ряды становилось, какъ сверкали его мечи и „бердыши и копыя булатныя. Завтра выдетъ оно въ поле, „подъ начальствомъ Воеводъ храбрѣйшихъ.“ — Сердце Алексѣево затрепетало; кровь закипѣла—онъ схватилъ со стѣны мечъ отца своего—взглянулъ на супругу—и мечъ упалъ на землю—слезы показались въ глазахъ его. Наталья взяла его за руку и не говорила ни слова.—„Любезная Наталья! сказалъ Алексѣй по нѣкоторомъ молчаніи: ты желаешь возвратиться въ домъ къ своему родителю?“

Наталья. Съ тобою, мой другъ, съ тобою! Ахъ! я не смѣла говорить тебѣ; только мнѣ всегда казалось, что мы напрасно скрываемся отъ батюшки. Увидя насъ, онъ такъ обрадуется, что все забудетъ; а я возьму за руку тебя и его, заплачу отъ радости, и скажу: *вотъ они; вотъ ты, которыхъ люблю—теперь я совершенно счастлива!*

Алексѣй. Но мнѣ надобно заслужить прежде милость Царскую. Теперь есть къ тому случай.

НАТАЛЬЯ. Какой же, мой другъ?

АЛЕКСѢЙ. Ъхать на войну, сразиться съ неприятелями Русскаго Царства, и побѣдить. Царь увидитъ тогда, что Любославскіе любятъ его и вѣрно служатъ своему отечеству.

НАТАЛЬЯ. Поѣдемъ, мой другъ! Лишь бы ты былъ со мною: я всюду готова.

Увы! какая пустота въ столицѣ Россійской! Все тихо, все печально. На улицахъ не видно никого, кромѣ слабыхъ старцевъ и женщинъ, которые съ унылыми лицами идутъ въ церковь молить Бога, чтобы онъ отвратилъ грозную тучу отъ Русскаго Царства, даровалъ побѣду православнымъ воинамъ, и развѣялъ сонмы Литовскіе. Добросердечный, чувствительный Царь стоитъ на высокомъ крыльцѣ своемъ, и съ нетерпѣніемъ ожидаетъ вѣсти отъ начальниковъ воинства, пошедшаго на встрѣчу врагамъ многочисленнымъ. Бояринъ Матвѣй неразлученъ съ Царемъ благочестивымъ. „Государь! говоритъ онъ: надѣйся на Бога и на храбрость своихъ подданныхъ, храбрость, которая отличаетъ ихъ отъ всѣхъ иныхъ народовъ. Страшно разятъ мечи Русскіе; тверда, подобно камню, грудь сыновъ твоихъ — побѣда будетъ вѣрною ихъ подругою.“—Такъ говорилъ Бояринъ; думалъ о благѣ отечества—и тосковалъ о своей дочери.

Въ поту, въ пыли прискакалъ вѣстникъ Царь встрѣчаетъ его на половинѣ крыльца, и дрожащею рукою развертываетъ письмо военноподначальниковъ... Первое слово есть *побѣда!*—*Побѣда!* восклицаетъ онъ въ радости—*побѣда!* восклицаютъ Бояре—*побѣда!* народъ повторяетъ—и во всемъ царственномъ градѣ раздавался одинъ голосъ: *побѣда!* и во всѣхъ сердцахъ было одно чувство: *радость!*

Начальники донесли Государю обо всемъ съ величайшею подробностію. Сраженіе было самое жестокое. Уже первый рядъ Русскаго воинства, тѣснимый безчисленнымъ множествомъ Литовцевъ, начиналъ колебаться, и хотѣлъ уступить врагу сильнѣйшему; но вдругъ какъ громъ загремѣлъ голосъ: *умремъ или побѣдимъ!* и въ то же мгновеніе отъ рядовъ Рос-

сійскихъ отдѣлился молодой воинъ, и съ мечемъ въ рукѣ бросился на непріятелей; за нимъ бросились и другіе; все воинство двинулось, и восклицая: *умремъ или побѣдимъ!* устремилось какъ буря на Литовцевъ, которые, не взирая на великое число свое, скоро побѣжали и разсѣялись. „Мы не можемъ, писали начальники, восхвалить по достоинству того юнаго воина, которому принадлежитъ вся честь побѣды, и которой гналъ, разилъ непріятелей, и собственною рукою плѣнилъ ихъ предводителя. Повсюду слѣдовалъ за нимъ братъ его, прекрасной отрокъ, и закрывалъ его щитомъ своимъ. Онъ не хочетъ объявить имени своего никому, кромѣ тебя, Государь. — Побѣжденные Литовцы спѣшатъ изъ предѣловъ Россіи, и скоро воинство твое возвратится со славою въ градъ Москву. Мы сами представимъ Царю непобѣдимаго юношу, спасителя отечества, и достойнаго всей твоей милости.“

Царь съ нетерпѣніемъ ожидалъ своихъ героевъ, и выѣхалъ встрѣтить ихъ въ поле, вмѣстѣ съ Бояриномъ Матвѣемъ и съ другими чиновниками. Въ Москвѣ никого не осталось; слабые старцы, забывъ слабость, спѣшили за городъ на встрѣчу къ своимъ дѣтямъ: супруги и матери, неся младенцевъ или ведя ихъ за руки, спѣшили туда же. Первый рядъ воинства показался, — второй и третій; разноцвѣтныя знамена вѣяли надъ оными: воины шли съ обнаженными мечами, ровнымъ шагомъ; назади ѣхали конные — впереди начальники, подъ сѣнію трофеевъ. Увидѣли Государя, и восклицанія: *побѣда и здравіе Царю Россійскому!* загремѣли въ воздухѣ. Воеводы упали передъ нимъ на колѣна. Онъ поднялъ ихъ и сказалъ съ улыбкою милости: *благодарю васъ именемъ отечества.* — „Государь! отвѣчали они: мы старались исполнить должность свою! Но Богъ даровалъ намъ побѣду рукою сего юнаго воина“. — Тутъ юный воинъ, стоявшій подлѣ ихъ съ потупленнымъ взоромъ, преклонилъ колѣно. *Кто ты, храбрый юноша?* спросилъ Государь, простирая къ нему правую руку свою: *имя твое должно быть славно въ предѣлахъ Русскаго Царства.* — „Государь, отвѣчалъ юноша: сынъ осужденнаго Боя-

рина Любославскаго, скончавшаго дни свои въ странѣ ино-  
вѣрныхъ, приносить тебѣ свою голову.—Царь поднялъ глаза  
на небо. — „Благодарю Тебя, Боже! (сказалъ онъ), что Ты  
посылаешь мнѣ случай хотя отчасти загладить неправосудіе  
и злобу людей, и за страданіе невиннаго отца наградить до-  
стойнаго сына! Такъ, храбрый юноша! невинность родителя  
твоего открылась — къ несчастію, поздно! Увы! я былъ тогда  
незрѣлымъ отрокомъ, и Бояринъ Матвѣй еще не имѣлъ мѣ-  
ста въ совѣтѣ моемъ. Злые Бояре оклеветали Любославскаго;  
одинъ изъ нихъ, кончая недавно жизнь свою, признался въ  
несправедливости доносовъ, по которымъ осудили невиннаго.  
Видишь слезы мои.—Будь же другомъ Царя своего, первымъ  
по Бояринѣ Матвѣѣ!“—„И такъ память отца моего, сказалъ  
Алексѣй, чиста отъ поношенія!.. Но я—я виненъ передъ то-  
бою, Государь великій! я увезъ дочь Боярина Матвѣя изъ  
родительскаго дому.—Царь удивился. *Гдѣ же она?* спросилъ  
онъ съ нетерпѣніемъ—Но Бояринъ уже нашелъ дочь свою:  
прекрасная Наталья, въ одеждѣ воина, бросилась въ его объятія;  
пишакъ спалъ съ головы ея, и русые волосы по плечамъ  
разсыпались. Изумленный, восхищенный родитель не смѣлъ  
вѣрить сему явленію: но сердце чувствительнаго старца силь-  
нымъ трепетомъ своимъ увѣряло его, что милая наплась.  
Едва могъ онъ перенести радость свою, и упалъ бы на землю,  
если бы другіе Бояре не поддержали его. Долго не гово-  
рилъ онъ ни слова, опустивъ голову на плечо Натальѣ; на-  
конецъ назвалъ ее именемъ, какъ будто бы желая видѣть,  
откликнется ли она—назвалъ ее своею милою, прекрасною,—  
и при каждомъ ласковомъ словѣ сіялъ новой лучъ радости  
на лицѣ его, которое такъ долго было печальнымъ! Казалось,  
будто языкъ его учился произносить давно забытыя имена:  
столь медленно онъ ихъ выговаривалъ и повторилъ столь ча-  
сто! Наталья цѣловала его руки. *Ты меня такъ же любишь!*  
говорила она—*такъ же любишь!* и теплые ручки слезъ до-  
говаривали за все прочее. Все воинство пребывало въ тишинѣ  
и въ молчаніи. Государь былъ тронутъ сердечно, взялъ

Алексѣя за руки и подвелъ его къ Боярину. *Вотъ, сказала Наталья—вотъ супругъ мой! прости его, родитель мой, и люби такъ, какъ меня любишь!* Бояринъ Матвѣй поднялъ голову, посмотрѣлъ на Алексѣя и подалъ ему дрожащую руку свою. Молодой человѣкъ хотѣлъ броситься передъ нимъ на колѣна; но старецъ прижалъ его къ своему сердцу вмѣстѣ съ милою дочерью...

Царь. Они достойны другъ друга, и будутъ твоимъ утѣшеніемъ въ старости.

„Она дочь моя (сказалъ Бояринъ Матвѣй прерывающимъ голосомъ)—онъ сынъ мой—Господи! дай мнѣ умереть въ ихъ объятіяхъ!“

Старецъ снова прижалъ ихъ къ своему сердцу.

---

Читатель вообразить себѣ все послѣдующее. — Старушку няню привезли въ городъ: Бояринъ Матвѣй простилъ ее; и призвавъ къ себѣ того Священника, который вѣнчалъ Алексѣя и Наталью, хотѣлъ, чтобы онъ снова благословилъ ихъ въ его присутствіи. Супруги жили щастливо и пользовались особенно Царскою милостію. Алексѣй оказалъ важныя услуги отечеству и Государю, услуги, о которыхъ упоминается въ разныхъ историческихъ рукописяхъ. Благодарственной Бояринъ Матвѣй дожилъ до самой глубокой старости, и веселился своею дочерью, своимъ зятемъ и прекрасными дѣтьми ихъ. Смерть явилась ему въ видѣ юнѣйшаго и любезнѣйшаго внука его; онъ хотѣлъ обнять милаго отрока—и скончался.—Больше я ничего не слыхалъ отъ бабушки моего дѣдушки; но за нѣсколько лѣтъ передъ симъ, прогуливаясь осенью по берегу Москвы рѣки, близъ темной сосновой рощи, нашелъ надгробный камень, заросшій зеленымъ мохомъ и разломленный рукою времени — съ великимъ трудомъ могъ я прочесть на немъ слѣдующую надпись: *здѣсь погребенъ Алексѣй Любославской съ своею супругою*. Старые люди сказывали мнѣ, что на

семъ мѣстѣ была нѣкогда церковь—вѣроятно, самая та, гдѣ  
вѣнчались наши любовники, и гдѣ они захотѣли лежать и  
по смерти своей.

1792 г.

V.

В О Л Г А.

1793.

Рѣка священнѣйшая въ мірѣ,  
Кристалльных водъ царица, мать!  
Дерзну ли я на слабой лирѣ  
Тебя, о Волга! величать,  
Богиней Пѣсни вдохновенный,  
Твоею славой удивленный?

Дерзну ль игрою струнъ моихъ,  
Подъ шумомъ гордыхъ волнъ твоихъ—  
Ихъ тонкой пѣной орошаясь,  
Прохладой въ сердцѣ освѣжаясь—  
Хвалить красу твоихъ береговъ,  
Гдѣ грады, веси процвѣтають,  
Поля волнистыя сіяють  
Подъ тѣнію густыхъ лѣсовъ,  
Въ которыхъ древле раздавался  
Единый страшный ревъ звѣрей,  
И эхомъ ввѣкъ не повторялся  
Любезный слуху гласъ людей—  
Береговъ, гдѣ прежде обитали  
*Орды Златыя* племена;  
Гдѣ стрѣлы въ воздухѣ свистали,  
И гдѣ невѣрныхъ знамена  
Нерѣдко кровью обагрялись  
Святыхъ, но слабыхъ Христіанъ;  
Гдѣ враны трупами питались  
Нещастныхъ древнихъ Россіанъ;  
Но гдѣ теперь одной державы

Народы въ тишинѣ живутъ,  
И всѣ одну Богиню чтутъ,  
Богиню щастія и славы <sup>1)</sup>—  
Гдѣ въ первый разъ открылъ я взоръ,  
Небеснымъ свѣтомъ озарился,  
И чувствомъ жизни насладился;  
Гдѣ птичекъ нѣжныхъ громкій хоръ  
Воспѣлъ рожденіе младенца;  
Гдѣ я Природу полюбилъ,—  
Ей первенцы души и сердца,  
Слезу, улыбку посвятилъ,  
И росъ въ веселіи невинномъ,  
Какъ юный миртъ въ лѣсу пустынномъ?

Дерзну ли пѣть, о мать рѣка!  
Какъ ты, красуясь въ теченьѣ  
По злату чистаго песка,  
Несешь земли благословенье <sup>2)</sup>  
На сребряномъ хребтѣ своемъ,  
Вездѣ щедроты разливаешь,  
Вездѣ страны обогащаешь  
Въ блистательномъ пути твоємъ:  
Какъ быстро плаватель безстрашной  
Летитъ на парусныхъ крылахъ  
Среди пучинъ стихіи влажной,  
Въ твоихъ лазоревыхъ зыбяхъ,  
Хваля свой жребій, милость Неба,  
Хваля благопріятный вѣтръ,  
И какъ, прельщенный свѣтомъ Феба,  
Со дна подьмется осетръ,  
Играетъ на верху съ волнами,  
Съ твоими пѣнными буграми,  
И плесомъ разсѣкаетъ ихъ?—

---

<sup>1)</sup> Писано въ царствованіе Екатерины.

<sup>2)</sup> То есть, суда съ хлѣбомъ и съ другими плодами земли.

Когда жь подъ тучами со гнѣвомъ,  
Съ ужаснымъ шумомъ, грознымъ ревомъ,  
Начнешь кипѣть въ берегахъ своихъ—  
Какъ вихри воздухъ раздирають,  
Какъ громы съ трескомъ ударяють,  
И молніи шипятъ въ волнахъ—  
Когда пловцы, спастись не чая,  
И къ небу руки простирая,  
Хладъ смерти чувствуютъ въ сердцахъ:—  
Какая кисть дерзнетъ представить  
Великость зрѣлища сего?  
Какая пѣснь возможетъ славить  
Ужасность гнѣва твоего?...  
Едва и самъ я въ лѣтахъ нѣжныхъ,  
Во цвѣтѣ радостной весны,  
Не кончилъ дней въ водахъ мятежныхъ  
Твоей, о Волга! глубины.  
Уже безъ вѣтриль, безъ кормила,  
По безднамъ буря насъ носила;  
Гребецъ отъ страха цѣпенѣль;  
Уже сіяла хлябь подъ нами  
Своими пѣнными устами;  
Надежды лучъ въ душахъ блѣднѣль;  
Уже я съ жизнію прощался,  
Съ ея прекрасною зарей;  
Въ тоскѣ слезами обливался,  
И ждалъ гибели своей...  
Но вдругъ Творецъ изрекъ *спасенье*—  
Утихло бурное волненье,  
И брегъ съ улыбкой намъ предсталъ.  
Какой восторгъ! какая радость!  
Я землю страстно лобызалъ,  
И чувствовалъ всю жизни сладость.—  
Сколь ты въ величїи своемъ,  
О Волга! яростна, ужасна,

Столь въ благости мила, прекрасна:  
Ты образъ Божій въ мірѣ семъ!  
Теки, Россію украшая;  
Шуми, священная рѣка,  
Свою великость прославляя,—  
Доколѣ времени рука  
Не истощитъ твоей пучины...  
Увы! сей горестной судьбины  
И ты не можешь избѣжать:  
*И ты должна свой вѣкъ скончать!*  
Но прежде многіе народы  
Истлѣютъ, превратятся въ прахъ,  
И блескъ цвѣтущія Природы  
Померкнетъ на твоихъ берегахъ <sup>1)</sup>.

VI.

**БЪ МИЛОСТИ <sup>2)</sup>.**

1792.

Что можетъ быть тебя святѣе,  
О Милость, дщерь благихъ Небесъ?  
Что краше въ мірѣ, что милѣе?  
Кто можетъ безъ сердечныхъ слезъ,  
Безъ радости и восхищенья,  
Безъ сладкаго въ крови волненья,  
Взирать на прелести Твои?

Какая ночь не озарится  
Отъ солнечныхъ Твоихъ очей?  
Какой мятежъ не укротится  
Одной улыбкою Твоей?  
Речешь, и громы онѣмѣютъ;

---

<sup>1)</sup> Мысль, что Природа старѣется, есть не только поэтическая мысль; самые Философы и Натуралисты не отвергаютъ ее.

<sup>2)</sup> Писано въ царствованіе Екатерины.

Гдѣ ступишь, тамъ цвѣты алѣютъ,  
И съ неба льется благодать.

Любовь Твои стопы лобзаетъ,  
И нѣжной Матерью зоветъ;  
Любовь Тебя на тронъ вѣнчаетъ,  
И скиптръ въ десницу подаетъ.  
Текутъ, текутъ земные роды,  
Какъ съ горъ высокихъ быстры воды,  
Подъ сѣнь державы Твоея.

Блаженъ, блаженъ народъ, живущій  
Въ пространной области Твоей!  
Блаженъ Пѣвецъ, Тебя поющій  
Въ жару, въ огнѣ души своей!—  
Доколѣ Милостію будешь,  
Доколѣ права не забудешь,  
Съ которымъ человѣкъ рожденъ;

Доколѣ гражданинъ довольный  
Безъ страха можетъ засыпать,  
И дѣти-подданные вольны  
По мыслямъ жизнь располагать,  
Природой наслаждаться,  
Вездѣ наукой украшаться  
И славить прелести Твои;

Доколѣ злоба, дочь Тифона,  
Пребудетъ въ мракъ удалена  
Отъ свѣтлозолотого трона;  
Доколѣ правда не страшна,  
И чистый сердцемъ не боится  
Въ своихъ желаніяхъ открыться  
Тебѣ, Владычницѣ души;

Доколѣ всѣмъ даешь свободу,  
И свѣта не темнишь въ умахъ;

Пока довѣренность къ народу  
Видна во всѣхъ Твоихъ дѣлахъ:  
Дотолѣ будешь свято чтима,  
Отъ подданныхъ боготворима  
И славима изъ рода въ родъ.

Спокойствія Твоей Державы  
Ничто не можетъ возмутить;  
Для чадъ Твоихъ нѣтъ большей славы,  
Какъ вѣрность къ Матери хранить.  
Тамъ тронъ вовѣкъ не потрясется,  
Гдѣ онъ любовію брежется,  
И гдѣ на тронѣ—Ты сидишь <sup>1)</sup>).

## VII.

### НѢЧТО О НАУКАХЪ, ИСКУССТВАХЪ И ПРО- СВѢЩЕНІИ <sup>2)</sup>).

1793.

Que les Muses, les arts et la philosophie  
Passent d'un peuple à l'autre et consolent la vie!  
*St. Lambert.*

Былъ человѣкъ—и человѣкъ великой, незабвенный въ лѣтописяхъ Философін, въ Исторіи людей—былъ человѣкъ, который со всѣмъ блескомъ краснорѣчія доказывалъ, что просвѣщеніе для насъ вредно, и что Науки несовмѣстны съ добродѣтелию!

Я чту великія твои дарованія, краснорѣчивый Руссо! Уважаю истины, открытыя тобою современникамъ и потомству—

---

<sup>1)</sup> По отзыву Н. И. Булича, ода эта „полна глубокаго чувства, какъ бы вызывая Екатерину, которая въ одѣ является тождественною съ милостию, на милосердіе къ преслѣдуемымъ“ (т. е. Новикову).

<sup>2)</sup> Сочиненіе это составляетъ опроверженіе разсужденія Жанъ-Жака Руссо, написаннаго на предложенную Дижонской академіей тему: „Способствовало-ли возстановленіе наукъ исправленію нравовъ или способствовало ихъ порчѣ?“

истины, отнынѣ незагладимыя на доскахъ нашего познанія — люблю тебя за доброе твое сердце, за любовь твою къ человечеству; но признаю мечты твои мечтами, парадоксы парадоксами.

Вообще разсужденіе его о Наукахъ <sup>1)</sup> есть, такъ сказать, логической Хаосъ, въ которомъ видѣнъ только обманчивый порядокъ или призракъ порядка; въ которомъ сіяетъ только *ложное* солнце—какъ въ Хаосѣ творенія, по описанію одного Поэта—и день съ ночью непосредственно, то есть безъ утра и вечера, соединяются. Оно есть собраніе противорѣчій и софизмовъ, предложенныхъ—въ чемъ надобно отдать справедливость Автору—съ немалымъ искусствомъ.

„Но Жанъ-Жака нѣтъ уже на свѣтѣ, на что беспокоить прахъ его?“—Творца нѣтъ на свѣтѣ но твореніе существуетъ, невѣжды читаютъ его — самые тѣ, которые ничего болѣе не читаютъ — и подъ Эгидою славнаго Женевскаго Гражданина злословятъ просвѣщеніе. Если бы небесный Юпитеръ отдалъ имъ на время громъ свой, то великолѣпное зданіе Наукъ въ одну минуту превратилось бы въ пепель.

Я осмѣливаюсь предложить нѣкоторыя примѣчанія, нѣкоторыя мысли свои о семъ важномъ предметѣ. Онѣ не суть плодъ глубокаго размышленія, но первыя, такъ сказать, идеи, возбужденныя чтеніемъ Руссова творенія <sup>2)</sup>.

Со временъ Аристотелевыхъ твердятъ Ученые, что надобно опредѣлять вещи, когда желаешь говорить объ нихъ и

---

<sup>1)</sup> Discours sur la question, proposée par l'Académie de Dijon, si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs?

<sup>2)</sup> Новая піеса одного неизвѣстнаго Нѣмецкаго Автора, которая нечаянно попала въ руки, и въ которой бѣдныя Науки страдаютъ ужаснымъ образомъ, заставила меня прочесть со вниманіемъ Discours de J. J. Примѣчанія мои неважны; но они по крайней мѣрѣ не выписаны ни изъ Готье, ни изъ Лаборда, ни изъ Мену, которыхъ я или совсѣмъ не читалъ, или совсѣмъ забылъ.—Что же принадлежитъ до Господина Нѣмецкаго Анонимуса, то онъ кромѣ злобы, тупоумія и несноснаго Готшедскаго слога, ничѣмъ похвалиться не можетъ; на такіа сочиненія нѣтъ отвѣта. *Прим. Карамзина.*

говорить основательно. Дефиниции или опредѣленія служатъ Фаросомъ<sup>1)</sup> въ путяхъ умствованія—Фаросомъ, который безпрестанно долженъ сіять предъ глазами нашими, если мы не хотимъ съ прямой черты совратиться. Руссо пишетъ о Наухахъ, объ Искусствахъ, не сказавъ, что суть Науки, что Искусства. Правда, если бы онъ опредѣлилъ ихъ справедливо, то всѣ главныя идеи трактата его — поднялись бы на воздухъ и разсѣялись въ дымъ, какъ пустыя фантомы и чада Химеры<sup>2)</sup>: то есть, трактатъ его остался бы въ туманной области небытія—а Жанъ-Жаку непремѣнно хотѣлось бранить ученость и просвѣщеніе. Для чего же? Можетъ быть для странности; для того, чтобы удивить людей, и показать свое отмынное остроуміе: суетность, которая бываетъ слабостію и самыхъ великихъ умовъ!

Не смотря на разные классы Наукъ, не смотря на разные имена ихъ, онѣ суть не что иное, какъ *познаніе Натуры и человека, или система свѣдѣній и умствованій, относящихся къ симъ двумъ предметамъ*<sup>3)</sup>.

Отъ чего произошли онѣ? — Отъ любопытства, которое есть одно изъ сильнѣйшихъ побужденій души человѣческой, любопытства, соединеннаго съ разумомъ.

Добрый Руссо! ты, который всегда хвалишь мудрость Природы, называешь себя другомъ ея и сыномъ, и хочешь обратить людей къ ея простымъ спасительнымъ законамъ! скажи, не сама ли Природа вложила въ насъ сію живую склонность ко знаніямъ. Не она ли приводитъ ее въ движеніе своими великолѣпными чудесами, столь изобильно вокругъ насъ разсѣянными? Не она ли призываетъ насъ къ Наухамъ! — Можетъ ли человѣкъ быть безчувственъ тогда,

---

<sup>1)</sup> Греческое слово, тоже, что маякъ.

<sup>2)</sup> Мифологическое чудовище грековъ съ львиной головой, тѣломъ козы и хвостомъ змѣи. Въ качествѣ нарицательнаго имени, означаетъ несбыточную мечту.

<sup>3)</sup> Познаніе сихъ двухъ предметовъ ведетъ насъ къ чувствованію всевѣчнаго творческаго Разума. *Прим. Карамз.*

когда громы Натуры гремятъ надъ его головою; когда страшные огни ея пылають на горизонтѣ и разсѣкають небо; когда моря ея шумять и ревуть въ необозримыхъ своихъ равнинахъ; когда она цвѣтетъ передъ нимъ въ зеленой одеждѣ своей или сіяетъ въ златѣ блестящихъ плодовъ, или, какъ будто бы утружденная великолѣпіемъ своихъ феноменовъ, облекается въ черную ризу осени, и погружается въ зимній сонъ подъ бѣлымъ кровомъ снѣговъ своихъ?

Обратимся во тьму прошедшаго; углубимся въ бездну минувшихъ вѣковъ, и вступимъ въ тѣ давно истлѣвшіе лѣса, въ которыхъ человѣчество, по словамъ твоимъ, о Руссо! блаженствовало въ физическомъ и душевномъ мерцаніи; устремимъ взоръ нашъ на юнаго сына Природы, тамъ живущаго: мы увидимъ, что и онъ не только о физическихъ потребностяхъ думаетъ; что и онъ имѣетъ душу, которая требуетъ себѣ не тѣлесной пищи. Сей дикой взираетъ съ удивленіемъ на картину Натуры; око его обращается отъ предмета къ предмету—отъ заходящаго солнца на восходящую луну, отъ грозной скалы, опѣваемой валами, на прекрасной ландшафтъ, гдѣ ручейки журчатъ въ серебряныхъ нитяхъ, гдѣ свѣжіе цвѣты пестрѣють и благоухають. Онъ въ тихомъ восхищеніи плѣняется естественными красотами, иногда нѣжными и милыми, иногда страшными: впиваетъ ихъ, такъ сказать, въ свое сердце всѣми чувствами и наслаждается безъ насыщенія. Все для него привлекательно; все хочетъ онъ видѣть и осязать въ нервахъ своихъ; спѣшитъ къ отдаленнѣйшему, ищетъ конца горизонту и не находитъ его—небо во всѣ стороны надъ нимъ разливается — Природа вокругъ его необозрима, и симъ величественнымъ образомъ безпредѣльности вѣщаетъ ему: *нѣтъ предѣловъ твоему любопытству и наслажденію!* — Такимъ образомъ собираетъ онъ безчисленныя идеи или чувственные понятія, которыя суть не что иное, какъ непосредственное отраженіе предметовъ, и которыя носятъ сначала въ душѣ его безъ всякаго порядка; но скоро пробуждается въ ней та удивительная сила или способность,

которую называемъ мы *разумомъ*, и которая ждала только чувственныхъ впечатлѣній, чтобы начать свои дѣйствія. Подобно лучезарному солнцу освѣщаетъ она Хаосъ идей, раздѣляетъ и совокупляетъ ихъ, находитъ между ими различія и сходства, отношенія, частное и общее, и производитъ идеи особливаго рода, идеи отвлеченныя, которыя составляютъ *знаніе*<sup>1)</sup>, составляютъ уже *Науку* — сперва Науку Природы, внѣшности предметовъ; а потомъ, черезъ разныя отвлеченія, достигаетъ человѣкъ и до понятія о самомъ себѣ, обращается отъ чувствованій къ чувствующему, и, не будучи Декартомъ<sup>2)</sup> говорить: *cogito, ergo sum*—*мышлю, слѣдственно существую*<sup>3)</sup> что жъ я?... Вся наша Антропология<sup>4)</sup> есть не что иное, какъ отвѣтъ на сей вопросъ.

И такимъ образомъ можно сказать, что Науки были прежде Университетовъ, Академій, Профессоровъ, Магистровъ, Бакалавровъ. Гдѣ Натура, гдѣ человѣкъ, тамъ учительница, тамъ ученикъ—тамъ Наука.

Хотя первыя понятія дикихъ людей были весьма недостаточны, но они служили основаніемъ тѣхъ великолѣпныхъ знаній, которыми украшается вѣкъ нашъ; они были первымъ шагомъ къ великимъ открытіямъ Невтоновъ и Лейбницевъ — тамъ источникъ, едва, едва журчащій подъ сѣнію вѣтвистаго дуба, мало по малу расширяется, шумитъ, и наконецъ образуетъ величественную Волгу.

Кто же, описывая дикаго или естественнаго человѣка, представляетъ его невнимательнымъ, нелюбопытнымъ, живущимъ всегда въ одной сферѣ чувственныхъ впечатлѣній, безъ всякихъ отвлеченныхъ идей—думающимъ только объ утоленіи голода и жажды, и проводящимъ большую часть времени во снѣ и безчувствіи—однимъ словомъ, звѣремъ: тотъ сочи-

<sup>1)</sup> Знать вещь есть не чувствовать только, но отличать ее отъ другихъ вещей, представлять ее въ связи съ другими. *Прим. Карамз.*

<sup>2)</sup> Рене Декартъ (1596—1650) знаменитый французскій философъ.

<sup>3)</sup> Извѣстной Декартовъ силлогизмъ. *Прим. Карамз.*

<sup>4)</sup> Наука о человѣкѣ.

няеть романъ, и описываетъ человѣка, который совсѣмъ не есть человѣкъ. Ни въ Африкѣ, ни въ Америкѣ не найдемъ мы такихъ бессмысленныхъ людей. Нѣтъ! и Готтентоты любопытны; и Кафры стараются умножать свои понятія; и Карайбы имѣють отвлеченныя идеи, ибо у нихъ есть уже языкъ, слѣдствіе многихъ умствованій и соображеній<sup>1)</sup>. — Или пусть младенецъ будетъ намъ примѣромъ человѣчества, младенецъ, котораго душа чиста еще отъ всѣхъ наростовъ, несвойственныхъ ея натурѣ? Не примѣчаемъ ли въ немъ желанія знать все, что представляется глазамъ его? Всякой шумъ, всякой необыкновенный предметъ не возбуждаетъ ли его вниманія? — Въ сихъ первыхъ движеніяхъ души видитъ Философъ опредѣленіе человѣку; видитъ, что мы сотворены для *знаній*, для *Науки*.

Что суть Искусства? — *Подражаніе Натурѣ*. Густыя, сросшіяся вѣтви были образцомъ первой хижины и основаніемъ Архитектуры; вѣтеръ, вѣявшій въ отверстіе сломленной трости, или на струны лука, и покоющія птички научили насъ музыкѣ, тѣнь предметовъ—рисованью и живописи. Горлица, сѣтующая на вѣтви объ умершемъ дружкѣ своемъ, была наставницею перваго Элегическаго Поэта<sup>2)</sup>; подобно ей

---

<sup>1)</sup> Наприм. всякое прилагательное имя есть отвлеченіе. Времена глаголь, мѣстоименія—все сіе требуетъ утонченныхъ дѣйствій разума. *Пр. К.*

<sup>2)</sup> Я думаю, что первое пѣстическое твореніе было не что иное, какъ изліяніе томно-горестнаго сердца; то есть, что первая Поезія была Элегическая. Человѣкъ веселящійся бываетъ столько занятъ предметомъ своего веселья, своей радости, что не можетъ заняться описаніемъ своихъ чувствъ; онъ наслаждается, и ни о чемъ болѣе не думаетъ. Напротивъ того, горестный другъ, горестный любовникъ, потерявъ милую половину души своей, любитъ думать и говорить о своей печали, изливать, описывать свои чувства; избираетъ всю Природу въ повѣренныя грусти своей; ему кажется, что журчащая рѣчка и шумящее дерево соболѣзнуютъ о его утратѣ; состояніе души его есть уже, такъ сказать, Поезія; онъ хочетъ облегчить свое сердце, и облегчаетъ его—слезами и пѣснію.—Всѣ веселья стихотворенія произошли въ позднѣйшія времена, когда человѣкъ сталъ описывать не только свои, но и другихъ людей чувства, не только настоящее, но и прошедшее; не только дѣйствительное, но и возможное или вѣроятное.

хотѣлъ онъ выразить горестъ свою, лишась милой подруги— и всѣ пѣсни младенческихъ народовъ начинаются сравненіемъ съ предметами или дѣйствіями Натуры.

Но что жъ заставило насъ подражать Натурѣ, то есть, что произвело Искусства? *Природное* человѣку стремленіе къ улучшенію бытія своего, къ умноженію жизненныхъ пріятностей. Отъ перваго шалаша до Луврской коллонады, отъ первыхъ звуковъ простой свирѣли до симфоній Гайдена, отъ перваго начертанія деревъ до картинъ Рафаэлевыхъ, отъ первой пѣсни дикаго до Поэмы Клопштоковой<sup>1)</sup>, человѣкъ слѣдовалъ сему стремленію. Онъ хочетъ жить *покойно*: рождаются такъ называемыя *полезныя Искусства*; возносятся зданія, которыя защищаютъ его отъ свирѣлости стихій. Онъ хочетъ жить *пріятно*: являются такъ называемыя *изящныя Искусства*, которыя усыпаютъ цвѣтами жизненный путь его.

И такъ Искусства и Науки *необходимы*: ибо онѣ суть плодъ природныхъ склонностей и дарованій человѣка, и соединены съ существомъ его, подобно какъ дѣйствія соединяются съ причиною, то есть союзомъ неразрывнымъ. Успѣхи ихъ показываютъ, что духовная натура наша въ теченіи времени, подобно какъ золото въ горнилѣ, очищается и достигаетъ большаго совершенства; показываютъ великое наше преимущество предъ всѣми иными животными, которыя отъ начала міра живутъ въ одномъ кругѣ чувствъ и мыслей, между тѣмъ какъ люди безпрестанно его распространяютъ, обогащаютъ, обновляютъ.

Я помню—и всегда буду помнить—что добрѣйшій и любезнѣйшій изъ нашихъ Философовъ, великой Боннетъ<sup>2)</sup>, сказалъ мнѣ однажды на берегу Женевского озера, когда мы, взирая на заходящее солнце, на златныя струи Лемана, говорили объ успѣхахъ человѣческаго разума. „Мой другъ!...“

---

<sup>1)</sup> Ф. Г. Клопштокъ (1724—1803), извѣстный нѣмецкій поэтъ, авторъ большой эпопеи „Мессіада“, воспѣвавшей Мессію.

<sup>2)</sup> Ш. Бонне (1720—1793), авторъ „Аналитическаго опыта о душѣ“.

симъ именемъ называетъ Боннетъ <sup>1)</sup> всѣхъ тѣхъ, которые приходятъ къ нему съ любовію къ истинѣ... „мой другъ! размышляющій человекъ можетъ и долженъ надѣяться, что въ послѣдствіи вѣковъ объяснится весь мракъ въ путяхъ Философіи, и заря нашихъ смѣлѣйшихъ предчувствій будетъ нѣкогда солнцемъ увѣренія. Знанія разливаются какъ волны морскія; необозримо ихъ пространство; никакое острое зрѣніе не можетъ видѣть отдаленнаго берега—но когда явится онъ утружденному взору мудрецовъ; когда мы узнаемъ все, что въ странахъ подлунныхъ знать можно: тогда—можетъ быть исчезнетъ міръ сей подобно волшебному замку, и человѣчество вступитъ въ другую сферу жизни и блаженства“.—Небесный свѣтъ сіялъ въ сію минуту на лицѣ Женевскаго Философа, и мнѣ казалось, что я слышу гласъ пророка.

Такъ, Искусства и Науки неразлучны съ существомъ нашимъ—и если бы какой нибудь духъ тьмы могъ теперь въ одну минуту истребить всѣ плоды ума человѣческаго, жатву всѣхъ прошедшихъ вѣковъ: то потомки наши снова найдутъ потерянное, и снова возсіяютъ Искусства и Науки какъ лучезарное солнце на земномъ шарѣ. Драгоцѣнное собраніе знаній, по волѣ гнуснаго варвара, было жертвою пламени въ Александріи; но мы знаемъ теперь то, чего ни Греки, ни Римляне не знали. Пусть новый Омаръ, новый Амру, факеломъ Тизифоны<sup>2)</sup> превратитъ въ пепелъ всѣ наши книгохранилища! Въ теченіе грядущихъ временъ родятся новые Баконъ, которые положатъ новое, и можетъ быть еще твердѣйшее основаніе храма Наукъ; родятся новые Невтоны, которые откроютъ законы всемірнаго движенія; новый Локкъ изъяснитъ человеку разумъ человека; новые Кондильяки, новые Боннеты силою ума своего оживятъ статую <sup>3)</sup>, и новые Поэты воспо-

<sup>1)</sup> Онъ былъ еще живъ, когда я писалъ сіи примѣчанія. *Прим. Карамз.*

<sup>2)</sup> См. *Essai analitique sur l'Ame, par Bonnet, и Traité des Sensations, par Condillac.*

<sup>3)</sup> Одна изъ фурій, сидѣвшая всегда у воротъ Тартара; имя ея значить—отмщающая убійство.

ютъ красоту Натуры, человѣка и славу Божію: ибо все то, чему мы удивляемся въ книгахъ, въ музыкѣ, на картинахъ, все то излилось изъ души нашей, и есть лучъ божественнаго свѣта ея, произведеніе великихъ ея способностей, которыхъ никакой Омаръ, никакой Амру не можетъ уничтожить. Пере-мѣните душу, вы ненавистники просвѣщенія! или никогда, никогда не успѣете въ человѣколюбивыхъ своихъ предпріятіяхъ; и никогда Прометеевъ огонь на землѣ не угаснетъ!

Заклучимъ: ежели Искусства и Науки въ самомъ дѣлѣ зло, то они *необходимое* зло, — зло, истекающее изъ самаго естества нашего; зло, для котораго Природа сотворила насъ. Но сія мысль не возмущаетъ ли сердца? Согласна ли она съ благостію Природы, съ благостію Творца нашего? Могъ ли Всевышній произвести человѣка съ любопытною и разумною душею, когда плоды сего любопытства и сего разума должны были быть пагубны для его спокойствія и добродѣтели? Руссо! я не вѣрю твоей системѣ.

*Науки портятъ нравы*, говоритъ онъ: *нашъ просвѣщенный вѣкъ служитъ тому доказательствомъ.*

Правда, что осьмой-надесять вѣкъ просвѣщеніе всѣхъ своихъ предшественниковъ; правда и то, что многіе пишутъ на него сатиры: многіе, кстати и не кстати, восклицаютъ: о tempo! о mores! о времена! о нравы! многіе жалуются на развратъ, на гибельные пороки нашихъ временъ, — но много ли Философовъ? много ли размышляющихъ людей? много ли такихъ, которые проникаютъ взоромъ своимъ во глубину нравственности, и могутъ справедливо судить о феноменахъ ея? Когда нравы были лучше нынѣшнихъ? Не ужели въ теченіе среднихъ вѣковъ, тогда, когда грабежъ, разбой и убійство почитались самымъ обыкновеннымъ явленіемъ? Пусть взглянутъ въ старыя лѣтописи, и сличатъ ихъ съ исторіею нашихъ временъ!—Намъ будутъ говорить о Сатурновомъ вѣкѣ, щастливой Аркадіи... Правда, сія вѣчно-цвѣтущая страна, подъ благимъ, свѣтлымъ небомъ, населенная простыми, добродушными пастухами, которые любятъ другъ друга какъ нѣж-

ные братья, не знают ни зависти ни злобы, живутъ въ благословенномъ согласіи, повинуются однимъ движеніямъ своего сердца, и блаженствуютъ въ объятіяхъ любви и дружбы, есть нѣчто восхитительное для воображенія чувствительныхъ людей; но—будемъ искренны, и признаемся, что сія щастливая страна есть не что иное, какъ пріятной сонъ, какъ восхитительная мечта сего самаго воображенія. По крайней мѣрѣ никто еще не доказалъ намъ исторически, чтобы она когда нибудь существовала. Аркадія Греціи не есть та прекрасная Аркадія, которою древніе и новые Поэты прельщаютъ наше сердце и душу.

J'ouvre les fastes: sur cet âge  
Partout je trouve des regrets:  
Tous ceux qui m'en offrent l'image,  
Se plaignent d'être nés après.<sup>1)</sup>

Самыя отдаленнѣйшія времена, освѣщаемыя факеломъ Исторіи—времена, въ которыя Искусства и Науки были еще, такъ сказать, въ безсловесномъ младенствѣ—не представляютъ ли намъ пороковъ и злодѣяній? Самъ ты, о Руссо! животворною своею кистію изобразилъ одно изъ сихъ страшныхъ происшествій древности, которыя возмущаютъ всякое чувство <sup>2)</sup> и показываютъ, что сердце человѣческое осквернялось тогда самымъ гнуснѣйшимъ развратомъ.

Ты обвиняешь вѣкъ нашъ утонченнымъ лицемѣріемъ, притворствомъ, но отъ чего же порокъ старается нынѣ скрывать себя подъ личиною добродѣтели болѣе, нежели когда нибудь? Не отъ того ли, что въ нынѣшнія времена гнушаются имъ болѣе, нежели прежде? Самое сіе относится къ чести нашихъ нравовъ; и если мы обязаны тѣмъ просвѣщенію, то оно благотворно и спасительно для нравовъ. Иначе можно будетъ доказать, что и добродѣтель развращаетъ людей, заставляя порочнаго лицемѣрить: ибо никогда не имѣетъ онъ такой нужды

<sup>1)</sup> Открываю лѣтописи: повсюду сѣтованія на время; всѣ, чей образъ встрѣчаешь тутъ, жалуются, что родились поздно.

<sup>2)</sup> Въ *Levite d'Ephraïm*.

притворяться добрымъ, какъ въ присутствіи добрыхъ. — Вообразимъ двухъ человѣкъ, которые оба злонравны, но съ тѣмъ различіемъ, что одинъ явно предается своимъ склонностямъ, и слѣдственно не стыдится ихъ, — а другой таитъ оныя, и слѣдственно самъ чувствуетъ, что онъ не похвальны: кто изъ нихъ ближе къ исправленію? Конечно послѣдній: ибо первый шагъ къ добродѣтели, какъ говорятъ древніе и новые Моралисты, есть познаніе гнусности порока.

Мысль, что во времена невѣжества не могло быть столько обмановъ, какъ нынѣ, для того что люди не знали никакихъ тонкихъ хитростей, есть совершенно ложная. Простые такъ же другъ друга обманываютъ, какъ и хитрые: первые грубымъ образомъ, а вторые искуснымъ — ибо мы не можемъ быть ни равно просты, ни равно хитры. Вспомнимъ жрецовъ идолопоклонства: они были конечно не Ученые, не мудрецы, но умѣли ослѣплять людей, и кровь человѣческая лилась на жертвенникахъ.

Сія учтивость, сія привѣтливость, сія ласковость, которая свойственна нашему времени и которую новыя Тимоны <sup>1)</sup> называютъ сусальнымъ золотомъ осьмага-надесять вѣка, въ глазахъ Философа есть истинная добродѣтель общежитія и слѣдствіе утонченнаго человѣколюбія. Не спору, что отереть слезы бѣднаго, отвратить грозную бурю отъ своего брата, гораздо похвальнѣе и важнѣе, нежели приласкать человѣка добрымъ словомъ или улыбкою; но все то, чѣмъ мы можемъ доставить другъ другу невинное удовольствіе, есть должность наша — и кто хотя одну минуту жизни сдѣлалъ для меня пріятною, тотъ есть мой благодѣтель. Мудрая, любезная Натура не только даетъ намъ пищу, она производитъ еще и алую розу и бѣлую лилію, которыя не нужны для нашего физическаго существованія—но онѣ пріятны для обонянія, для

---

<sup>1)</sup> Извѣстно, что Аѳинской Тимонъ былъ великой мизантропъ. „Я люблю тебя, сказалъ онъ Альцибіаду, за то, что ты сдѣлаешь довольно зла своему отечеству“. *Прим. Карамз.*

глазъ нашихъ, и Натура производитъ ихъ. Учивость, привѣтливость есть цвѣтъ общежитія.

*Спартанцы не знали ни Наукъ, ни Искусствъ—говорить нашъ Мизософъ<sup>1)</sup>—и были добродѣтельны прочихъ Грековъ,—и были непобѣдимы. Когда невѣжество царствовало въ Римѣ, тогда Римляне повелѣвали міромъ; но Римъ просвѣтился, и сѣверные варвары наложили на него цѣпи рабства<sup>2)</sup>.*

*Во-первыхъ—Спартанцы не были такими невѣждами и грубыми людьми, какими хочеть ихъ описывать Женевской Гражданинъ. Они не занимались ни Астрономіею, ни Метафизикою, ни Геометріею: но у нихъ были другія Науки и самыя Изящныя Искусства. Они имѣли свое Нравоученіе, свою Логикъ, свою Реторику, хотя учились имъ не въ Академіяхъ, а на площадяхъ—не отъ Профессоровъ, а отъ своихъ Эфоровъ. Не священная ли Поэзія приготовила сихъ Республиканцевъ къ Ликурговымъ уставамъ? Пѣснопѣвецъ Ѡалесъ<sup>3)</sup> былъ предтечею сего законодателя; явился въ Спартѣ съ златострунною лирою, воспѣлъ щастіе мудрыхъ законовъ, благо согласія, и восхитилъ сердца слушателей. Тогда пришелъ Ликургъ, и Спартанцы приняли его какъ друга боговъ и челоувѣковъ, котораго устами вѣщала Истина и Мудрость. Во время второй Мессенской войны повелѣвалъ Лакедемонцами Аѣинской Поэтъ Тиртей; онъ пѣлъ, игралъ на арфѣ, и воины его, какъ яростные вихри, стремились на брань и смерть: доказательство, что сердца ихъ отверзались впечатлѣніемъ изящнаго, чувствовали въ истинѣ красоту и въ красотѣ истину!—У нихъ были и собственные свои Поэты, на прим. Алкманъ, которой „всю жизнь свою посвящалъ любви, и во всю жизнь свою воспѣвалъ любовь“; были музыканты и живописцы—первые гармоніею струнъ своихъ возбуждали въ нихъ*

<sup>1)</sup> Ненавистникъ мудрости.

<sup>2)</sup> Все, что Руссо говоритъ въ своемъ Discours о Спартѣ и Римѣ, взято изъ Essais Montaigne, главы XXIV, du Pedantisme. Жанъ-Жакъ любилъ Монтаня. Прим. Карамз.

<sup>3)</sup> Сей Поэтъ Ѡалесъ жилъ прежде мудреца Ѡалеса или Талеса. Пр. Кар.

ревность геройства; кисть вторыхъ изображала *красоту и силу*, въ видѣ Аполлона и Марса, чтобы Спартанки, обращая на нихъ взоры свои, раждали Аполлоновъ и Марсовъ—были и Риторы, которые въ собраніяхъ народа, или на печальныхъ празднествахъ учрежденныхъ въ память Павзанію и Леониду, убѣждали и трогали согражданъ своихъ—на прим. самые Аѣинцы удивлялись краснорѣчію Спартанца Бразиды, и сравнивали его съ лучшими изъ Греческихъ Ораторовъ. Законы Лакедемонскіе не запрещали наслаждаться Изящными Искусствами, но не терпѣли ихъ злоупотребленія. Для сего-то Эфоры не позволяли гражданамъ своимъ читать соблазнительныхъ твореній Сатирика Архилоха; для сего-то велѣли они молчать лирѣ одного музыканта, который нѣжною, томною игрою вливалъ ядъ сладострастія въ души воиновъ; для сего-то выгнали они изъ Спарты того Ритора, который хотѣлъ говорить о всѣхъ предметахъ съ равнымъ искусствомъ и жаромъ. Истинное краснорѣчіе, одушевленное правдою, на правдѣ основанное, было имъ любезно—ложное, софистическое, ненавистно. Ихъ теорія нравственности поставлялась въ примѣръ ясной краткости, силы и убѣдительности, такъ что многіе Философы древности, на прим. Фалесъ, Питтакъ и другіе, заимствовали отъ нихъ методы своего ученія.

*Во-вторыхъ*,—точно ли Спартанцы были добродѣтельныѣ прочихъ Грековъ? Не думаю. Тамъ, гдѣ въ забаву убивали бѣдныхъ невольниковъ, какъ дикихъ звѣрей; гдѣ тирански умерщвляли слабыхъ младенцевъ, для того что Республика не могла надѣяться на силу руки ихъ тамъ, слѣдуя общему человѣческому понятію, нельзя искать нравственнаго совершенства. Если древніе говорили, „что самый Спартанскій воздухъ вселяетъ, кажется, *Аретинъ*“, то подъ симъ словомъ разумѣли они не то, что мы разумѣемъ нынѣ подъ именемъ *добродѣтели*, *vertu*, *Tugend*, а *мужество* или *храбрость* <sup>1)</sup>, которая только по своему употребленію бываетъ добродѣте-

<sup>1)</sup> *Арети* происходитъ отъ *Арисъ*. Симъ именемъ, какъ извѣстно, называется по-Гречески Марсъ. Прим. Карамз.

лю. Спартанцы были всегда храбры, но не всегда добродѣтельны. Леонидъ и друзья его, которые принесли себя въ жертву отечеству, суть мои Герои, истинно-великіе мужи, полубоги; безъ слезъ не могу я думать о славной смерти ихъ при Термопилахъ—но когда питомцы Ликурговыхъ законовъ лили кровь человѣческую для того, чтобы умножить число своихъ невольниковъ и поработить слабѣйшія Греческія области: тогда храбрость ихъ была злодѣйствомъ—и я радуюсь, что великой Эпаминондъ смирилъ гордость сихъ Республиканцевъ, и съ надменнаго чела ихъ сорвалъ лавръ побѣды.

Просвѣщенныя Аѣины, гдѣ такъ сказать, возрости всѣ наши Искусства и Науки—Аѣины производили также своихъ Героевъ, которые въ великодушіи и храбрости не уступали Лакедемонскимъ, Ѳемистоклъ, Аристидъ, Фокіонъ! кто не удивляется вашему величію? Вы сіяете въ Исторіи человѣчества какъ благотѣльныя свѣтила—и вѣчно сіять будете!—Самъ божественный Сократъ, первый изъ мудрецовъ древности, былъ храбрый воинъ; отъ высочайшихъ умозрѣній Философіи летѣлъ онъ на полѣ брани умирать за любезныя Аѣины—и я не знаю, кто болѣе имѣетъ причинъ любить и защищать свое отечество, сынъ Софронисковъ, или какой нибудь Абдеритъ: первый наслаждается въ немъ всѣми благами жизни, цвѣтами природы, Искусства, самимъ собою, своимъ человѣчествомъ, силами и способностями души своей; а второй въ благословенной Абдерѣ—*живетъ*, и болѣе ничего. Для кого страшнѣе узъ варваровъ? Сократъ, сражаясь за Аѣины, сражается за мѣсто своего щастія, своихъ удовольствій, которыя вкушалъ онъ въ садахъ Философскихъ въ бесѣдѣ друзей и мудрецовъ—Абдеритъ и подъ игомъ Персидскимъ можетъ быть Абдеритомъ <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Говорятъ еще, что упражненіе въ Наукахъ или въ Искусствахъ ослабляетъ тѣлесныя силы, нужныя воинъ; но развѣ Ученый или художникъ непремѣнно долженъ морить себя въ кабинетѣ? Соблюдая умѣренность въ трудахъ своихъ, онъ можетъ служить отечеству рукою и грудью не хуже другихъ гражданъ. Впрочемъ, не Атлетовы силы, но любовь къ отечеству дѣлаетъ воиновъ непобѣдимыми. *Прим. Карамз.*

Что принадлежит до Рима, то Науки не могли быть причиною его паденія, когда Сципіоны посвящали имъ всѣ свободные часы свои и были — Сципіонами; когда Катонъ, умирая вмѣстѣ съ Республикою, въ послѣднюю ночь жизни своей читалъ Платона; когда Цицеронъ, ученѣйшій Римлянинъ своего времени, презиралъ опасность и гремѣлъ противъ Катилины. Сіи Герои были питомцы Наукъ, и притомъ Герои; болѣе такихъ мужей, и Римъ безсмертенъ въ своемъ величіи!

Я согласенъ, что чрезмѣрная роскошь, которая царствовала наконецъ въ Римѣ, была пагубна для Республики: но какую связь имѣетъ роскошь съ Науками? Сія политическая и нравственная язва перешла въ Римъ изъ странъ Азіатскихъ, вмѣстѣ съ великимъ богатствомъ, которое бываетъ ея источникомъ и пищею. Чѣмъ же обогатились потомки Ромуловы? Конечно не науками, но завоеваніями — и такимъ образомъ причина славы ихъ сдѣлалась наконецъ причиною ихъ гибели.

Успѣхъ самыхъ *пріятныхъ искусствъ* ни мало не зависитъ отъ богатства. Поэтъ, живописецъ, музыкантъ, имѣютъ ли нужду въ Моголовыхъ сокровищахъ для того, чтобы сочинить безсмертную Поэму, написать изящную картину, очаровать слухъ нашъ сладкими звуками? Потребны ли сокровища и для того, чтобы наслаждаться великими произведеніями Искусствъ? Для перваго нужны таланты, для втораго потребенъ вкусъ: и то и другое есть особенный даръ Неба, который не въ мрачныхъ нѣдрахъ земли хранится, и не съ золотымъ пескомъ пріобрѣтается<sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Но чѣмъ же въ бѣдной землѣ будетъ награжденъ Писатель или художникъ? Похвалою, одобреніемъ, удовольствіемъ своихъ согражданъ: вотъ то, что истинному Артисту всего милѣе, всего дороже! — Музы не умѣютъ считать денегъ, и бѣгутъ отъ желѣзныхъ сундуковъ, на которыхъ гремѣтъ замки и запоры. Тамъ, гдѣ любятъ ихъ чистымъ сердцемъ; гдѣ умѣютъ чувствовать красоту ихъ — тамъ онѣ всѣмъ довольны, довольны бѣдною *хижиною* и ключевою водою. Въ другое мѣсто не заманишь ихъ и славнымъ брилліантомъ Португальской Королевы. *Прим. Карамз.*

И кто имѣеть болѣе алчности къ богатству, просвѣщенный человѣкъ или невѣжда? человѣкъ съ дарованіями или глупецъ? Философъ цѣнить умозрѣнія свои дороже золота. Архимедъ не взялъ-бы милліоновъ за ту минуту, въ которую воскликнулъ онъ: *Эврика! нашель! нашель!* Камозенъ не думалъ о своемъ имѣніи, когда тонулъ корабль его; но, бросившись въ море, держалъ онъ въ правой рукѣ Лузіаду. Сіи отмѣнные люди находятъ въ самихъ себѣ источникъ живѣйшихъ удовольствій — и потому самому богатство не можетъ быть ихъ идоломъ.

*Но сколько заблужденій въ Наукахъ!* Правда, для того, что онѣ несовершенны; но предметъ ихъ есть *истина*. Заблужденія въ Наукахъ суть, такъ сказать, чуждые наросты, и рано или поздно исчезнуть. Они подобны тѣмъ волнистымъ облакамъ, которыя въ часъ утра показываются на востокѣ, и бывають предтечами златаго солнца. Изъ темной сѣни невѣжества должно итти къ свѣтозарной истинѣ сумрачнымъ путемъ сомнѣнія, чаянія и заблужденія; но мы придемъ къ прелестной богинѣ, придемъ, не смотря на всѣ препоны, и въ ея эфирныхъ объятіяхъ вкусимъ небесное блаженство. Высочайшая Премудрость не хотѣла насъ удалить отъ нее сими различными затрудненіями, ибо мы можемъ преодолѣть ихъ, и сражаясь съ оными, чувствуемъ нѣкоторую радость въ глубинѣ сердецъ своихъ: вѣрный знакъ того, что дѣйствуемъ согласно съ нашимъ опредѣленіемъ!<sup>1)</sup> Кажется, будто Натура, скрывая иногда истину — по словамъ Философа Демо-

---

<sup>1)</sup> Во всякомъ случаѣ, гдѣ мы удаляемся отъ мудраго плана Натуры, отъ ея цѣли, обыкновенно чувствуемъ въ душѣ своей нѣкоторую тоску, неудовольствіе, непріятность. Сіе противное чувство говоритъ намъ: „ты оставилъ путь, предписанный тебѣ Натурою: обратись на него!“ Кто не повируется сему гласу, тотъ вѣчно будетъ несчастливъ.—Напротивъ того всегда, когда дѣйствуемъ сообразно съ нашимъ опредѣленіемъ, или съ волею великаго Творца, чувствуемъ нѣкоторое тихое удовольствіе, радость. Сіе чувство говоритъ намъ: „ты идешь путемъ, предписаннымъ тебѣ Натурою, не совращаясь съ онаго!“

крита—на днѣ глубокаго кладезя, хочетъ единственно того, чтобы мы долѣе наслаждались пріятнымъ исканіемъ, и тѣмъ живѣе чувствовали красоту ея. Такъ нѣжная Дафна бѣжитъ и скрывается отъ страстнаго Палемона, единственно для того, чтобы еще болѣе воспалить жаркую любовь его!

*Науки съ Искусствами вредны и потому*—продолжаетъ ихъ славный Антагонистъ — *что мы тратимъ на нихъ драгоценное время*; но какъ же, уничтоживъ всѣ Науки и всѣ Искусства, будемъ употреблять его? На земледѣліе, на скотоводство? Правда, что земледѣліе и скотоводство всего нужнѣе для нашего существованія; но можемъ ли занять ими всѣ часы свои? Что станемъ мы дѣлать въ тѣ мрачные дни, когда вся Природа сѣтуетъ и облекается въ трауръ? когда сѣверные вѣтры обнажаютъ рощи, пушистые снѣга усыпаютъ желѣзную землю, и дыханіе холода замыкаетъ двери жилищъ нашихъ; когда земледѣлецъ и пастухъ со вздохомъ оставляютъ поля, и заключаются въ своихъ хижинахъ? Тогда не будетъ уже книгъ, благословенныхъ книгъ, сихъ вѣрныхъ, милыхъ друзей, которые доселѣ услаждали для насъ печальную осень и скучную зиму, то обогащая душу великими истинами Философіи, то извлекая слезы чувствительности изъ глазъ нашихъ трогательными повѣствованіями. Священная небесная Меланхолія, мать всѣхъ безсмертныхъ произведеній ума человеческого! ты будешь чужда холодному нашему сердцу; оно забудетъ тогда всѣ благороднѣйшія свои движенія, и сіе пламя всемірной любви, которое развиваютъ въ немъ творенія истинныхъ мудрецовъ и друзей человѣчества, подобно угасающей лампадѣ блеснетъ—и померкнетъ!.. Руссо! Руссо! память твоя теперь любезна человѣкамъ; ты умеръ, но духъ твой живетъ въ Эмилѣ, но сердце твое живетъ въ Элоизѣ — и ты возставалъ противъ Наукъ, противъ Словесности! и ты проповѣдывалъ щастіе невѣжества, славилъ безсмысліе, блаженство звѣрской жизни! ибо что иное какъ не звѣрь есть тотъ человѣкъ, который живетъ только для удовлетворенія своимъ физическимъ потребностямъ? Не уже ли скажутъ

намъ, что онъ, удовлетворяя симъ потребностямъ, спокоенъ и щастливъ? Ахъ, нѣтъ! на золотомъ диванѣ и въ темной хижинѣ онъ бѣденъ и злополученъ; на золотомъ диванѣ и въ темной хижинѣ чувствуетъ онъ вѣчный недостатокъ, вѣчную скуку. Одинъ, чтобы наполнить сію мучительную пустоту сердца, выдумываетъ тысячу мнимыхъ нуждъ, тысячу мнимыхъ потребностей жизни<sup>1)</sup>; другой, угнетаемый бременемъ мысленной силы своей, ищетъ облегченія въ совершенномъ забвеніи самого себя, или прибѣгаетъ къ ужасному распутству.—Такъ конечно! человѣкъ носитъ въ груди своей пламень Этно: живое побужденіе дѣятельности, которое мучитъ празднаго—Искусства же и Науки суть благотворный источникъ, утоляющій сію душевную жажду.

*Но развѣ добродѣтель не можетъ занять души твоей?* возражаетъ Руссо. *Учись быть нѣжнымъ сыномъ, супругомъ, отцомъ, полезнымъ гражданиномъ, человекомъ, и ты не будешь празденъ!* Что же есть Мораль, пзъ Наукъ важнѣйшихъ Альфа и Омега всѣхъ Наукъ и всѣхъ Искусствъ? Не она ли доказываетъ человѣку, что онъ для собственнаго своего щастія долженъ быть добрымъ? Не она ли представляетъ ему необходимость и пользу гражданского порядка? Не она ли соглашаетъ волю его съ законами, и дѣлаетъ его свободнымъ въ самыхъ узахъ? Не она ли сообщаетъ ему тѣ правила, которыя разрѣшаютъ его недоумѣнія, во всякомъ затруднительномъ случаѣ, и вѣрною стезею ведетъ его къ добродѣтели?—Всѣ животныя, кромѣ человѣка, подвержены уставу необходимости: для нихъ нѣтъ выбора, нѣтъ ни добра, ни зла; но мы не имѣемъ сего, такъ сказать, *деспотическаго чувства*, сего естественнаго побужденія, управляющаго имъ: вмѣсто его данъ человѣку разумъ, который долженъ *искать* истины и добра. Звѣрь видитъ и дѣйствуетъ; мы видимъ и разсуждаемъ, то есть сравниваемъ, разбираемъ, и потомъ уже дѣйствуемъ.

---

<sup>1)</sup> Вотъ главная причина роскоши! Слѣдственно Науки, будучи врагами праздности, суть враги и сей самой роскоши, которая питается праздностію.

„Отъ чего же тѣ люди, которые посвящаютъ жизнь свою Наукамъ, не рѣдко имѣютъ порочныя нравы?“—Конечно не отъ того, что они въ Наукахъ упражняются; но совсѣмъ отъ другихъ причинъ: наприм. отъ худаго воспитанія, сего главнаго источника нравственныхъ золъ, и отъ худыхъ привычекъ, глубоко вкоренившихся въ ихъ сердце. Любезныя Музы врачуютъ всегда душевныя болѣзни. Хотя и бывають такіе злыя недуги, которыхъ не могутъ онѣ излечить *совершенно*; но во всякомъ случаѣ дѣйствія ихъ благотворны — п чело-вѣкъ, который, не взирая на нѣжный союзъ съ ними, все еще предается порокамъ, во мракѣ невѣжества сдѣлался бы, можетъ быть, страшнымъ чудовищемъ, извергомъ творенія. Искусства и Науки, показывая намъ красоты величественной Натуры, возвышаютъ душу; дѣлають ее чувствительнѣе и нѣжнѣе, обогащаютъ сердце наслажденіями, и возбуждаютъ въ немъ любовь къ порядку, любовь къ гармоніи, къ добру, слѣдственно ненависть къ беспорядку, разгласію и порокамъ, которые разстроиваютъ прекрасную связь общежитія. Кто чрезъ мириады блестящихъ сферъ, кружащихся въ голубомъ небесномъ пространствѣ, умѣетъ возноситься духомъ своимъ къ престолу невидимаго Божества; кто внимаетъ гласу Его и въ громахъ и въ зефирахъ, въ шумѣ морей и — собственномъ сердцѣ своемъ; кто въ атомѣ видитъ міръ и въ мірѣ атомъ безпредѣльнаго творенія; кто въ каждомъ цвѣточкѣ, въ каждомъ движеніи и дѣйствіи Природы чувствуетъ дыханіе вышней Благости, и въ алыхъ небесныхъ молніяхъ добываетъ край Саваоовой ризы, тотъ не можетъ быть злодѣемъ. На мраморныхъ скрижаляхъ Исторіи, между именами изверговъ, покажутъ ли намъ имя Бакона, де-Карта, Галлера, Томсона, Геспера?.. Наблюдатель челоѣчества! будь вторымъ Говардомъ <sup>1)</sup>, и посѣти мрачныя обиталища, гдѣ оже-

---

<sup>1)</sup> Ф. Бэконъ (1561—1626)—знаменитый англійскій философъ, основатель новой философіи. — Декартъ, см. стр. 102. — А. Галлеръ (1708—1777)—нѣмецкій натуралистъ, врачъ и поэтъ. — Дж. Томсонъ (1700—1748)—англій-

сточенные преступники ждутъ себѣ праведнаго наказанія — сіи несчастные, долженствующіе кровію своею примириться съ раздраженными законами; спроси — естли не онѣмѣютъ уста твои въ семь жилищѣ страха и ужаса—спроси, кто они? и ты узнаешь, что просвѣщеніе не было никогда ихъ долею, и что благодѣтельные лучи Наукъ никогда не озаряли хладныхъ и жестокихъ сердецъ ихъ. Ахъ! тогда повѣришь, что ночь и тьма есть жилище Грей, Горгонъ и Гарпій; что все изящное, все доброе любитъ свѣтъ и солнце.

Такъ! просвѣщеніе есть Палладіумъ благонравія—и когда вы, вы, которымъ вышняя Власть поручила судьбу человѣковъ, желаете распространить на землѣ область добродѣтели, то любите Науки, и не думайте, чтобы онѣ могли быть вредны; чтобы какое нибудь состояніе въ гражданскомъ обществѣ долженствовало пресмыкаться въ грубомъ невѣжествѣ—нѣтъ! сіе златое солнце сіяетъ для всѣхъ на голубомъ сводѣ, и все живущее согрѣвается его лучами; сей текущій кристаллъ утоляетъ жажду и властелина и невольника; сей столѣтній дубъ обширною своею тѣнію прохладждаетъ и пастуха и Героя. Всѣ люди имѣютъ душу, имѣютъ сердце: слѣдственно всѣ могутъ наслаждаться плодами Искусства и Науки — и кто наслаждается ими, тотъ дѣлается лучшимъ человѣкомъ и спокойнѣйшимъ гражданиномъ—спокойнѣйшимъ, говорю: ибо находя вездѣ и во всемъ тысячу удовольствій и пріятностей, не имѣетъ онъ причины роптать на Судьбу и жаловаться на свою участь.—Цвѣты Грацій украшаютъ всякое состояніе—просвѣщенный земледѣлецъ, сидя послѣ трудовъ и работы на мягкой зелени съ нѣжною своею подругою, не позавидуетъ щастію роскошнѣйшаго Сатрапа.

*Просвѣщенный земледѣлецъ!*—Я слышу тысячу возраженій, но не слышу ни одного справедливаго. Быть просвѣ-

---

скій поэтъ, авторъ знаменитой поэмы „Времена года“, переведенной Карамзинимъ.—Говардъ (1727—1790)—извѣстный англійскій филантропъ, посвятившій свою дѣятельность улучшенію тюремъ.

щеннымъ есть быть здравомыслящимъ, не ученымъ, не по-лиглотомъ, не педантомъ. Можно судить справедливо и по правиламъ строжайшей Логики, не читавъ никогда схоласти-ческихъ бредней о сей Наукѣ; не думая о томъ, кто лучше опредѣляетъ ее: Томазіи или Тширингаузу, Меланхтонъ или Рамусъ, Клерикусъ или Буддеусъ; не зная, что такое *снени-мемата, барбара, целарентъ, феріо*, <sup>1)</sup> и проч. Для сего ко-нечно не достаетъ земледѣльцу времени — ибо онъ долженъ обрабатывать поля свои; но для того, чтобы мыслить здраво, нужно только впечатлѣть въ душу нѣкоторыя правила, нѣкото-рыя вѣчныя истины, которыя составляютъ основаніе и суще-ство Логики — для сего же найдетъ онъ въ жизни своей довольно свободныхъ часовъ, равно какъ и для того, чтобы узнать премудрость, благость и красоту Натуры, которая всегда предъ глазами его, — узнать, любить ее и быть счаст-ливѣе.

Я поставлю въ примѣръ многихъ Швейцарскихъ, Англій-скихъ и Нѣмецкихъ поселянъ, которые пахутъ землю и со-бираютъ библіотеки; пахутъ землю и читаютъ Гомера, и живутъ такъ чисто, такъ хорошо, что Музамъ и Граціямъ не стыдно посѣщать ихъ. Кто не слыхалъ о славномъ Ци-рихскомъ крестьянинѣ Клейнъ-йокѣ, у котораго Философы могли учиться Философіи, съ которыми Бодмеръ, Геснеръ, Лафатеръ, любили говорить о красотахъ Природы, о величе-ствѣ Творца ея, о санѣ и должностяхъ человѣка? <sup>2)</sup> — Не да-леко отъ Мангейма живетъ и теперь такой поселянинъ, ко-торый читалъ всѣхъ лучшихъ Нѣмецкихъ и даже иностран-

---

<sup>1)</sup> Христіанъ Томазіусъ (1655—1729) — нѣмецкій философъ. — Меланх-тонъ (1497—1560) — знаменитый сотрудникъ Лютера въ дѣлѣ реформации. — Петръ Рамусъ (1515 — 1571) — извѣстенъ попыткою упростить логику. — І. Ф. Буддеусъ (1634—1729) — нѣмецкій ученый. — Далѣе слѣдуютъ разныя формы силлогизмовъ въ схоластической логикѣ.

<sup>2)</sup> І. Я. Бодмеръ (1698—1786) — швейцарскій поэтъ и писатель. — І. К. Лафатеръ (1741—1801) — швейцарскій писатель, извѣстный попыткою обра-ботать физиономику.

ныхъ Авторовъ, и самъ пишетъ прекрасные стихи<sup>1)</sup>. Сіи упражненія не мѣшаютъ ему быть трудолюбивѣйшимъ работникомъ въ своей деревнѣ и прославлять долю свою. „Всякой день, „говоритъ онъ<sup>2)</sup>, благодарю я Бога за то, что Онъ „опредѣлилъ мнѣ быть поселяниномъ, котораго состояніе есть „самое ближайшее къ Натурѣ, и слѣдственно самое щастливѣйшее.“

Законодатель и другъ человѣчества! ты хочешь общественнаго блага: да будетъ же первымъ закономъ твоимъ — *просвѣщеніе!* Гласомъ онаго благодѣтельнаго грома, который не умерщвляетъ живущаго, а напаяетъ землю и воздухъ питательными и плодотворными силами, вѣщай человѣкамъ: *созерцайте Природу, и наслаждайтесь ея красотою; познавайте свое сердце, свою душу; дѣйствуйте всѣми силами, Творческою рукою вамъ данными,—и вы будете любезнѣйшими чадами Неба!*

Когда свѣтъ ученія, свѣтъ истины озаритъ всю землю и проникнетъ въ самыя темнѣйшія пещеры невѣжества: тогда, можетъ быть, исчезнуть всѣ нравственныя Гарпіи, доселѣ осквернявшія человѣчество,—исчезнуть, подобно какъ привидѣнія ночи на разсвѣтѣ дня исчезаютъ; тогда, можетъ быть, настанетъ златый вѣкъ Поэтовъ, вѣкъ благонравія—и тамъ, гдѣ возвышались теперь кровавые эшафоты, тамъ сядетъ добродѣтель на свѣтломъ тронѣ.

Между тѣмъ вы составляете мое утѣшеніе, вы нѣжныя, чада ума, чувства и воображенія! Съ вами я богатъ безъ богатства, съ вами я не одинъ въ уединеніи, съ вами не знаю ни скуки, ни тяжелой праздности. Хотя живу на краю Сѣвера, въ отечествѣ грозныхъ Аквилоновъ, но съ вами, любезныя Музы! съ вами вездѣ долина Темпейская—коснетесь рукою, и печальная сосна въ лаврѣ Аполлоновъ превращается; дохнете божественными устами, и на желтыхъ хладныхъ

---

<sup>1)</sup> Многие изъ нихъ читалъ я въ Нѣмецкомъ Музеумѣ.

<sup>2)</sup> Одинъ изъ моихъ знакомыхъ былъ у него въ гостяхъ.

пескахъ цвѣты Олимпійскіе расцвѣтають. Осыпанный вашими благами, державу презирать блескъ тщеславія и суетности. Вы и Природа, Природа и любовь добрыхъ душъ вотъ мое счастье, моя отрада въ горестяхъ!.. Ахъ! я иногда проливаю слезы, и не стыжусь ихъ!

Меня не будетъ — но память моя не совсѣмъ охладѣть въ мірѣ; любезный, нѣжно-образованный юноша, читая нѣкоторыя мысли, нѣкоторыя чувства мои, скажетъ: *онъ имѣлъ душу, имѣлъ сердце!*

### VIII.

#### ОСТРОВЪ БОРНГОЛЬМЪ <sup>1)</sup>.

(Повѣсть).

1794.

Друзья! прошло красное лѣто; золотая осень поблѣднѣла; зелень увяла; деревья стоятъ безъ плодовъ и безъ листьевъ; туманное небо волнуется какъ мрачное море; зимній пухъ сыплется на хладную землю—простимся съ природою до радостнаго весенняго свиданія; укроемся отъ вьюгъ и мятелей—укроемся въ тихомъ кабинетѣ своемъ! Время не должно тяготить насъ; мы знаемъ лекарство для скуки. Друзья! дубъ и береза пылаютъ въ каминѣ нашемъ—пусть свирѣпствуетъ вѣтеръ, и засыпаетъ окна бѣлымъ снѣгомъ! Сядемъ вокругъ алаго огня, и будемъ рассказывать другъ другу сказки и повѣсти и всякія были.

Вы знаете, что я странствовалъ въ чужихъ земляхъ, далеко, далеко отъ моего отечества, далеко отъ васъ, любезныхъ моему сердцу; видѣлъ много чуднаго, слышалъ много удивительнаго; многое вамъ рассказывалъ, но не могъ расска-

---

<sup>1)</sup> По свидѣтельству современниковъ, повѣсть эта, представляющая черты романтическихъ произведеній, очень нравилась юношеству. Въ ней, по словамъ Погодина, представлена „картина въ туманѣ, подъ дымякою“, навѣвающая задумчивость.

затѣ всего, что случилось со мною. Слушайте—я повѣствую—повѣствую истину, не выдумку.

Англія была крайнимъ предѣломъ моего путешествія. Тамъ, сказалъ я самому себѣ: „отечество и друзья ожидаютъ тебя; время успокоиться въ ихъ объятіяхъ, время посвятить страннической жезлъ твой сыну Майну <sup>1)</sup>; время повѣсить его на густѣйшую вѣтвь того дерева, подъ которымъ игралъ ты въ юныхъ лѣтахъ своихъ“ — сказалъ, и сѣлъ въ Лондонѣ на корабль *Британію*, чтобъ плыть къ любезнымъ странамъ Россіи.

Быстро катились мы на бѣлыхъ парусахъ вдоль цвѣтущихъ береговъ величественной Темзы. Уже безпредѣльное море засинѣлось передъ нами; уже слышали мы шумъ его волненія — но вдругъ переимѣнился вѣтеръ и корабль нашъ, въ ожиданіи благопріятнѣйшаго времени, долженъ былъ остановиться противъ мѣстечка Гревзенда.

Вмѣстѣ съ Капитаномъ вышелъ я на берегъ; гулялъ съ покойнымъ сердцемъ по зеленымъ лугамъ, украшеннымъ Природою и трудолюбіемъ, — мѣстамъ рѣдкимъ и живописнымъ; наконецъ, утомленный жаромъ солнечнымъ, легъ на траву, подъ столѣтнимъ вязомъ, близъ морскаго берега, и смотрѣлъ на влажное пространство, на пѣнистые валы, которые въ безчисленныхъ рядахъ изъ мрачной отдаленности неслися къ острову съ глухимъ ревомъ. Сей унылой шумъ и видъ необозримыхъ водъ начинали склонять меня къ той дремотѣ, къ тому сладостному бездѣйствію души, въ которомъ всѣ идеи и всѣ чувства останавливаются и цѣпенѣютъ, подобно вдругъ замерзающимъ ключевымъ струямъ, и которое есть самой разительнѣйшей и самой пѣтической образъ смерти: но вдругъ вѣтви потряслись надъ моею головою... Я взглянулъ и увидѣлъ—молодаго человѣка, худого, блѣднаго, томнаго—болѣе привидѣніе, нежели человѣка. Въ одной рукѣ держалъ онъ

---

<sup>1)</sup> Во время древности странники, возвращаясь въ отечество, посвящали жезлы свои Меркурію.

гитару, другою срывалъ онъ листочки съ дерева, и смотрѣлъ на синее море неподвижными черными глазами своими, въ которыхъ сіялъ послѣдній лучъ угасающей жизни. Взоръ мой не могъ встрѣтиться съ его взоромъ; чувства его были мертвы для вѣшнихъ предметовъ; онъ стоялъ въ двухъ шагахъ отъ меня, но не видалъ ничего.—Нешастной молодой человѣкъ! думалъ я: ты убить рокомъ. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты нещастливъ!

Онъ вздохнулъ; поднялъ глаза къ небу, опустилъ ихъ опять на волны морскія—отошелъ отъ дерева, сѣлъ на траву, заигралъ на своей гитарѣ печальную прелюдію, смотря безпрестанно на море, и запѣлъ тихимъ голосомъ слѣдующую пѣсню (на Датскомъ языкѣ, которому училъ меня въ Женевѣ пріятель мой Докторъ N. N.):

Законъ осуждаютъ  
Предметъ моей любви;  
Но кто, о сердце! можетъ  
Противиться тебѣ?

Какой законъ святѣе  
Твоихъ врожденныхъ чувствъ?  
Какая власть сильнѣе  
Любви и красоты?

Люблю, — любить вѣкъ буду.  
Кляните страсть мою,  
Безжалостныя души,  
Жестокія сердца!

Священная Природа!  
Твой нѣжный другъ и сынъ  
Невиненъ предъ тобою.  
Ты сердце мнѣ дала;

Твои дары благіе  
Украсили ее —  
Природа! ты хотѣла,  
Чтобъ Лиду я любилъ!

Твой громъ гремѣлъ надъ нами,  
Но насъ не поражалъ,  
Когда мы наслаждались  
Въ объятіяхъ любви. —

О Борнгольмъ, милый Борнгольмъ!  
Къ тебѣ душа моя  
Стремится безпрестанно,  
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!  
Навѣкъ я удаленъ  
Родительскою клятвой  
Отъ береговъ твоихъ!

Еще ли ты, о Лида!  
Живешь въ тоскѣ своей?  
Или въ волнахъ шумящихъ  
Скончала злую жизнь?

Явися мнѣ, явися,  
Любезнѣйшая тѣнь!  
Я самъ въ волнахъ шумящихъ  
Съ тобою погребусь.

Тутъ, по невольному внутреннему движенію, хотѣлъ я броситься къ незнакомцу и прижать его къ сердцу своему; но Капитанъ мой въ самую сію минуту взялъ меня за руку, и сказалъ, что благопріятный вѣтеръ развѣваетъ наши парусы, и что намъ не должно терять времени.—Мы поплыли. Молодой человѣкъ, бросивъ гитару и сложивъ руки, смотрѣлъ въ слѣдъ за нами,—смотрѣлъ на синее море.

Волны пѣнились подъ рулемъ корабля нашего; берегъ Гревсендской скрылся въ отдаленіи; сѣверныя провинціи Англіи чернѣлись на другомъ краю горизонта—наконецъ все исчезло, и птицы, которыя долго вились надъ нами, полетѣли назадъ къ берегу, какъ будто бы устрешенныя необозримостію моря. Волненіе шумныхъ водъ и туманное небо остались единственнымъ предметомъ глазъ нашихъ, предметомъ величественнымъ и страшнымъ.—Друзья мои! чтобы живо чув-

ствовать всю дерзость человѣческаго духа, надобно быть на открытомъ морѣ, гдѣ *одна тонкая дощечка*, какъ говоритъ Виландъ, *отдѣляетъ насъ отъ влажной смерти*; но гдѣ искусный пловецъ, распуская парусы, летитъ, и въ мысляхъ своихъ видитъ уже блескъ золота, которымъ въ другой части міра наградится смѣлая его предприимчивость. Nil mortalibus arduum est — *нѣтъ для смертныхъ невозможнаго*, думалъ я съ Горациемъ, теряясь взоромъ въ безконечности Нептунова царства.

Но скорѣ жестокой припадокъ морской болѣзни лишилъ меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пѣною бурныхъ волнъ <sup>1)</sup>, едва билось въ груди моей. Въ седьмой день я ожилъ, и хотя съ блѣднымъ, но радостнымъ лицомъ вышелъ на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже къ западу; море, освѣщаемое златыми его лучами, шумѣло; корабль летѣлъ на всѣхъ парусахъ по грудамъ разсѣваемыхъ валовъ, которые тщетно силились опередить его. Вокругъ насъ, въ разномъ отдаленіи, развѣвались бѣлые, голубые и розовые флаги; а на правой сторонѣ чернѣлось нѣчто подобное землѣ.

Гдѣ мы? спросилъ я у Капитана. „Плаваніе наше благополучно, сказалъ онъ: мы прошли Зундъ; берега Швеціи скрылись отъ глазъ нашихъ. На правой сторонѣ видите вы Датской островъ Борнгольмъ, мѣсто опасное для кораблей; тамъ мели и камни таятся на днѣ морскомъ. Когда наступитъ ночь, мы бросимъ якорь“.

Островъ Борнгольмъ, островъ Борнгольмъ! повторилъ я въ мысляхъ, и образъ молодого Гревсендскаго незнакомца оживился въ душѣ моей. Печальные звуки и слова пѣсни его отзывались въ моемъ слухѣ. „Они заключаютъ въ себѣ тайну сердца его, думалъ я: но кто онъ? Какіе законы осуждаютъ любовь несчастнаго? Какая клятва удалила его отъ береговъ

---

<sup>1)</sup> Въ самомъ дѣлѣ пѣна волнъ часто орошала меня, лежащаго почти безъ памяти на палубѣ.

Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда нибудь его исторію?"

Между тѣмъ сильной вѣтеръ несъ насъ прямо къ острову. Уже открылись грозныя скалы его, откуда съ шумомъ и пѣною свергались кипящіе ручьи во глубинѣ морскую. Онъ казался со всѣхъ сторонъ неприступнымъ со всѣхъ сторонъ огражденнымъ рукою величественной Натуры; ничего, кромѣ страшнаго, не представлялось на сѣдѣхъ утесахъ. Съ ужасомъ видѣлъ я тамъ образъ холодной, безмолвной вѣчности, образъ неумолимой смерти, и того неописаннаго Творческаго могущества, передъ Которымъ все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось въ волны—и мы бросили якорь. Вѣтеръ утихъ, и море едва, едва колебалось. Я смотрѣлъ на островъ, которой неизъяснимою силою влекъ меня къ берегамъ своимъ; темное предчувствіе говорило мнѣ: „тамъ можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольмъ останется на вѣки въ твоей памяти!“—Наконецъ, узнавъ, что не далеко отъ берега есть рыбацкія хижины, рѣшился я просить у Капитана шлюпки и ѣхать на островъ съ двумя или тремя матрозами. Онъ говорилъ объ опасности, о подводныхъ камняхъ; но видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требованіе, съ тѣмъ условіемъ, чтобы я на другой день рано по утру на корабль возвратился.

Мы поплыли, и благополучно пристали къ берегу, въ небольшомъ тихомъ заливѣ. Тутъ встрѣтили насъ рыбаки, люди грубые и дикіе, выросшіе на холодной стихіи, подъ шумомъ валовъ морскихъ, и незнакомые съ улыбкою дружелюбнаго привѣтствія, впрочемъ, не хитрые и не злые люди. Услышавъ, что мы желаемъ посмотреть островъ и почевать въ ихъ хижинахъ, они привязали нашу лодку, и повели насъ, сквозь распавшуюся кремнистую гору, къ своимъ жилищамъ. Черезъ полчаса вышли мы на пространную, зеленую равнину, гдѣ, подобно какъ на долинахъ Альпійскихъ, разсѣяны были низенькіе деревянные домики, рощицы и громады камней.

пескахъ цвѣты Олимпійскіе расцвѣтають. Осыпанный вашими благами, дерзаю презирать блескъ тщеславія и суетности. Вы и Природа, Природа и любовь добрыхъ душъ вотъ мое щастіе, моя отрада въ горестяхъ!.. Ахъ! я иногда проливаю слезы, и не стыжусь ихъ!

Меня не будетъ — но память моя не совсѣмъ охладѣетъ въ мірѣ; любезный, нѣжно-образованный юноша, читая нѣкоторыя мысли, нѣкоторыя чувства мои, скажетъ: *онъ имѣлъ душу, имѣлъ сердце!*

### VIII.

#### ОСТРОВЪ БОРНГОЛЬМЪ <sup>1)</sup>.

(Повѣсть).

1794.

Друзья! прошло красное лѣто; золотая осень поблѣднѣла; зелень увяла; деревья стоятъ безъ плодовъ и безъ листьевъ; туманное небо волнуется какъ мрачное море; зимній пухъ сыплется на хладную землю—простимся съ природою до радостнаго весенняго свиданія; укроемся отъ вьюгъ и мятелей—укроемся въ тихомъ кабинетѣ своемъ! Время не должно тяготить насъ; мы знаемъ лекарство для скуки. Друзья! дубъ и береза пылаютъ въ каминѣ нашемъ—пусть свирѣпствуетъ вѣтеръ, и засыпаетъ окна бѣлымъ снѣгомъ! Сядемъ вокругъ алаго огня, и будемъ рассказывать другъ другу сказки и повѣсти и всякія были.

Вы знаете, что я странствовалъ въ чужихъ земляхъ, далеко, далеко отъ моего отечества, далеко отъ васъ, любезныхъ моему сердцу; видѣлъ много чуднаго, слышалъ много удивительнаго; многое вамъ рассказывалъ, но не могъ расска-

---

<sup>1)</sup> По свидѣтельству современниковъ, повѣсть эта, представляющая черты романтическихъ произведеній, очень нравилась юношеству. Въ ней, по словамъ Погодина, представлена „картина въ туманѣ, подъ дымкою“, навѣвающая задумчивость.

затъ всего, что случалось со мною. Слушайте—я повѣствую—повѣствую истину, не выдумку.

Англія была крайнимъ предѣломъ моего путешествія. Тамъ, сказалъ я самому себѣ: „отечество и друзья ожидаютъ тебя; время успокоиться въ ихъ объятіяхъ, время посвятить странпическій жезлъ твой сыну Майну <sup>1)</sup>); время повѣсить его на „густѣйшую вѣтвь того дерева, подъ которымъ игралъ ты „въ юныхъ лѣтахъ своихъ“ — сказалъ, и сѣлъ въ Лондонѣ на корабль *Британію*, чтобъ плыть къ любезнымъ странамъ Россіи.

Быстро катились мы на бѣлыхъ парусахъ вдоль цвѣтушихъ береговъ величественной Темзы. Уже безпредѣльное море засинѣлось передъ нами; уже слышали мы шумъ его волненія — но вдругъ пережѣнился вѣтеръ и корабль нашъ, въ ожиданіи благопріятнѣйшаго времени, долженъ былъ остановиться противъ мѣстечка Гревзенда.

Вмѣстѣ съ Капитаномъ вышелъ я на берегъ; гулялъ съ покойнымъ сердцемъ по зеленымъ лугамъ, украшеннымъ Природою и трудолюбіемъ, — мѣстамъ рѣдкимъ и живописнымъ; наконецъ, утомленный жаромъ солнечнымъ, легъ на траву, подъ столѣтнимъ вязомъ, близъ морскаго берега, и смотрѣлъ на влажное пространство, на пѣнистые валы, которые въ безчисленныхъ рядахъ изъ мрачной отдаленности неслися къ острову съ глухимъ ревомъ. Сей унылой шумъ и видъ необозримыхъ водъ начинали склонять меня къ той дремотѣ, къ тому сладостному бездѣйствію души, въ которомъ всѣ идеи и всѣ чувства останавливаются и цѣпенѣютъ, подобно вдругъ замерзающимъ ключевымъ струямъ, и которое есть самой разительнѣйшей и самой піитической образъ смерти: но вдругъ вѣтви потряслись надъ моею головою... Я взглянулъ и увидѣлъ—молодаго человѣка, худаго, блѣднаго, томнаго—болѣе привидѣніе, нежели человѣка. Въ одной рукѣ держалъ онъ

---

<sup>1)</sup> Во время древности странники, возвращаясь въ отечество, посвящали жезлы свои Меркурію.

гитару, другою срывалъ онъ листочки съ дерева, и смотрѣлъ на синее море неподвижными черными глазами своими, въ которыхъ сіялъ послѣдній лучъ угасающей жизни. Взоръ мой не могъ встрѣтиться съ его взоромъ; чувства его были мертвы для внѣшнихъ предметовъ; онъ стоялъ въ двухъ шагахъ отъ меня, но не видалъ ничего.—Нешастной молодой человѣкъ! думалъ я: ты убить рокомъ. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастливъ!

Онъ вздохнулъ; поднялъ глаза къ небу, опустилъ ихъ опять на волны морскія—отошелъ отъ дерева, сѣлъ на траву, заигралъ на своей гитарѣ печальную прелюдію, смотря безпрестанно на море, и запѣлъ тихимъ голосомъ слѣдующую пѣсню (на Датскомъ языкѣ, которому училъ меня въ Женевѣ пріятель мой Докторъ N. N.):

Законы осуждаютъ  
Предметъ моей любви;  
Но кто, о сердце! можетъ  
Противиться тебѣ?

Какой законъ святѣе  
Твоихъ врожденныхъ чувствъ?  
Какая власть сильнѣе  
Любви и красоты?

Люблю, — любить ввѣкъ буду.  
Кляните страсть мою,  
Безжалостныя души,  
Жестокія сердца!

Священная Природа!  
Твой нѣжный другъ и сынъ  
Невиненъ предъ тобою.  
Ты сердце мнѣ дала;

Твои дары благіе  
Украсили ее —  
Природа! ты хотѣла,  
Чтобъ Лилу я любилъ!

Твой громъ гремѣлъ надъ нами,  
Но насъ не поражалъ,  
Когда мы наслаждались  
Въ объятіяхъ любви. —

О Борнгольмъ, милый Борнгольмъ!  
Къ тебѣ душа моя  
Стремится безпрестанно,  
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!  
Навѣкъ я удаленъ  
Родительскою клятвой  
Отъ береговъ твоихъ!

Еще ли ты, о Лиля!  
Живешь въ тоскѣ своей?  
Или въ волнахъ шумящихъ  
Скончала злую жизнь?

Явился мнѣ, явился,  
Любезнѣйшая тѣнь!  
Я самъ въ волнахъ шумящихъ  
Съ тобою погребусь.

Тутъ, по невольному внутреннему движенію, хотѣлъ я броситься къ незнакомцу и прижать его къ сердцу своему; но Капитанъ мой въ самую сію минуту взялъ меня за руку, и сказалъ, что благопріятный вѣтеръ развѣваетъ наши парусы, и что намъ не должно терять времени.—Мы поплыли. Молодой человѣкъ, бросивъ гитару и сложивъ руки, смотрѣлъ въ слѣдъ за нами,—смотрѣлъ на синее море.

Волны пѣнились подъ рулемъ корабля нашего; берегъ Гревсендской скрылся въ отдаленіи; сѣверныя провинціи Англіи чернѣлись на другомъ краю горизонта—наконецъ все исчезло, и птицы, которыя долго вились надъ нами, полетѣли назадъ къ берегу, какъ будто бы уstraшенные необозримо-стію моря. Волненіе шумныхъ водъ и туманное небо остались единственнымъ предметомъ глазъ нашихъ, предметомъ величественнымъ и страшнымъ.—Друзья мои! чтобы живо чув-

ствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть на открытомъ морѣ, гдѣ одна тонкая дощечка, какъ говоритъ Виландъ, отдѣляетъ насъ отъ влажной смерти; но гдѣ искусный пловецъ, распуская парусы, летитъ, и въ мысляхъ своихъ видитъ уже блескъ золота, которымъ въ другой части міра наградится смѣлая его предприимчивость. Nil mortalibus arduum est — нѣтъ для смертныхъ невозможнаго, думалъ я съ Горациемъ, теряясь взоромъ въ безконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокой припадокъ морской болѣзни лишилъ меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пѣною бурныхъ волнъ <sup>1)</sup>, едва билось въ груди моей. Въ седьмой день я ожилъ, и хотя съ блѣднымъ, но радостнымъ лицомъ вышелъ на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже къ западу; море, освѣщаемое златыми его лучами, шумѣло; корабль летѣлъ на всѣхъ парусахъ по грудамъ разсѣкаемыхъ валовъ, которые тщетно силились опередить его. Вокругъ насъ, въ разномъ отдаленіи, развѣвались бѣлые, голубые и розовые флаги; а на правой сторонѣ чернѣлось нѣчто подобное землѣ.

Гдѣ мы? спросилъ я у Капитана. „Плаваніе наше благополучно, сказалъ онъ: мы прошли Зундъ; берега Швеціи скрылись отъ глазъ нашихъ. На правой сторонѣ видите вы Датской островъ Борнгольмъ, мѣсто опасное для кораблей; тамъ мели и камни таятся на днѣ морскомъ. Когда наступитъ ночь, мы бросимъ якорь“.

Островъ Борнгольмъ, островъ Борнгольмъ! повторилъ я въ мысляхъ, и образъ молодаго Гревзендскаго незнакомца оживился въ душѣ моей. Печальные звуки и слова пѣсни его отозвались въ моемъ слухѣ. „Они заключаютъ въ себѣ тайну сердца его, думалъ я: но кто онъ? Какіе законы осуждаютъ любовь несчастнаго? Какая клятва удалила его отъ береговъ

---

<sup>1)</sup> Въ самомъ дѣлѣ пѣна волнъ часто орошала меня, лежащаго почти безъ памяти на палубѣ.

Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когданибудь его исторію?"

Между тѣмъ сильной вѣтеръ несъ насъ прямо къ острову. Уже открылись грозныя скалы его, откуда съ шумомъ и пѣною свергались кипящіе ручьи во глубину морскую. Онъ казался со всѣхъ сторонъ неприступнымъ со всѣхъ сторонъ огражденнымъ рукою величественной Натуры; ничего, кромѣ страшнаго, не представлялось на сѣдыхъ утесахъ. Съ ужасомъ видѣлъ я тамъ образъ холодной, безмолвной вѣчности, образъ неумолимой смерти, и того неописаннаго Творческаго могущества, передъ Которымъ все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось въ волны—и мы бросили якорь. Вѣтеръ утихъ, и море едва, едва колебалось. Я смотрѣлъ на островъ, которой неизъяснимою силою влекъ меня къ берегамъ своимъ; темное предчувствіе говорило мнѣ: „тамъ можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольмъ останется на вѣки въ твоей памяти!“—Наконецъ, узнавъ, что не далеко отъ берега есть рыбацкія хижины, рѣшился я просить у Капитана шлюпки и ѣхать на островъ съ двумя или тремя матрозами. Онъ говорилъ объ опасности, о подводныхъ камняхъ; но видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требованіе, съ тѣмъ условіемъ, чтобы я на другой день рано по утру на корабль возвратился.

Мы поплыли, и благополучно пристали къ берегу, въ небольшомъ тихомъ заливѣ. Тутъ встрѣтили насъ рыбаки, люди грубые и дикіе, выросшіе на холодной стихіи, подъ шумомъ валовъ морскихъ, и незнакомые съ улыбкою дружелюбнаго привѣтствія, впрочемъ, не хитрые и не злые люди. Услышавъ, что мы желаемъ посмотреть островъ и ночевать въ ихъ хижинахъ, они привязали нашу лодку, и повели насъ, сквозь распавшуюся кремнистую гору, къ своимъ жилищамъ. Черезъ полчаса вышли мы на пространную, зеленую равнину, гдѣ, подобно какъ на долинахъ Альпійскихъ, разбѣяны были низенькіе деревянные домики, рощицы и громады кампей.

Тутъ оставилъ я своихъ матрозовъ, а самъ пошелъ далѣе, чтобы наслаждаться еще нѣсколько времени пріятностями вечера; мальчикъ, лѣтъ тринадцати, былъ проводникомъ моимъ.

Алая заря не угасла еще на свѣтломъ небѣ; розовой свѣтъ ея сыпался на бѣлые граниты, и вдали, за высокимъ холмомъ, освѣщала острыя башни древняго замка. Мальчикъ не могъ сказать мнѣ, кому принадлежалъ сей замокъ. „Мы туда не ходимъ, говорилъ онъ,—и Богъ знаетъ, что тамъ дѣлается!“— Я удвоилъ шаги свои, и скоро приблизился къ большому готическому зданію, окруженному глубокимъ ровомъ и высокою стѣною. Вездѣ царствовала тишина; вдали шумѣло море; послѣдній лучъ вечерняго свѣта угасалъ на мѣдныхъ шпицахъ башенъ.

Я обошелъ вокругъ замка—ворота были заперты, мосты подняты. Проводникъ мой боялся, самъ не зная чего, и просилъ меня идти назадъ къ хижинамъ; но могъ ли любопытный человѣкъ уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдругъ раздался голосъ — эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчикъ отъ страха схватилъ меня обѣими руками, и дрожалъ, какъ преступникъ въ часъ казни. Черезъ минуту снова раздался голосъ—спрашивали: *кто тамъ?* Чужеземецъ, сказалъ я, приведенный любопытствомъ на сей островъ; и если гостепріимство почтается добродѣтелію въ стѣнахъ вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи.—Отвѣта не было; но черезъ нѣсколько минутъ загремѣлъ и опустился съ верху башни подъемной мостъ: съ шумомъ отворились ворота — высокою человѣкъ, въ длинномъ черномъ платьѣ, встрѣтилъ меня, взялъ за руку и повелъ въ замокъ. Я оборотился назадъ: но мальчикъ, провожатой мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами; мостъ загремѣлъ и поднялся. Черезъ обширный дворъ, заросшій кустарникомъ, крапивою и полынью, пришли мы къ огромному дому, въ которомъ свѣтился огонь. Высокой перистилъ, въ древнемъ вкусѣ, велъ къ желѣзному крыльцу, котораго ступени звучали подъ но-

гами нашими. Вездѣ было мрачно и пусто. Въ первой залѣ, окруженной внутри готическою колонадою, висѣла лампада, и едва, едва изливала блѣдный свѣтъ на ряды позлащенныхъ столповъ, которые отъ древности начинали разрушаться; въ одномъ мѣстѣ лежали части карниза, въ другомъ отломки пиластровъ, въ третьемъ цѣлыя упавшія колонны. Путеводитель мой нѣсколько разъ взглядывалъ на меня проникательными глазами, но не говорилъ ни слова.

Все сіе сдѣлало въ сердцѣ моемъ странное впечатлѣніе, смѣшанное отчасти съ ужасомъ, отчасти съ тайнымъ неизяснимымъ удовольствіемъ, или лучше сказать, съ пріятнымъ ожиданіемъ чего-то чрезвычайнаго.

Мы прошли еще черезъ двѣ или три залы, подобныя первой, и освѣщенныя такими же лампадами. Потомъ отворилась дверь на право—въ углу небольшой комнаты сидѣлъ почтенной сѣдовласой старецъ, облокотившись на столъ, гдѣ горѣли двѣ бѣлыя восковыя свѣчи. Онъ поднялъ голову, взглянулъ на меня съ какою-то печальною ласкою, подаль мнѣ слабую свою руку и сказалъ тихимъ пріятнымъ голосомъ: „Хотя вѣчная горестъ обитаетъ въ стѣнахъ здѣшняго замка, но странникъ, требующій гостепріимства, всегда найдетъ въ немъ мѣрное пристанище. Чужеземецъ! я не знаю тебя; но ты человѣкъ—въ умирающемъ сердцѣ моемъ жива еще любовь къ людямъ—мой домъ, мои объятія тебѣ отворсты“.—Онъ обнялъ, посадилъ меня, и стараясь развеселить мрачный видъ свой, уподоблялся хотя ясному, но хладному осеннему дню, которой напоминаетъ болѣе горестную зиму, нежели радостное лѣто. Ему хотѣлось быть привѣтливымъ,—хотѣлось улыбкою вселить въ меня довѣренность и пріятныя чувства дружелюбія; но знаки сердечной печали, углубившіеся на лицѣ его, не могли исчезнуть въ одну минуту.

„Ты долженъ, молодой человѣкъ—сказалъ онъ—ты долженъ извѣстить меня о происшествіяхъ свѣта, мною оставленнаго, но еще не совсѣмъ забытаго. Давно живу я въ уединеніи; давно не слышу ничего о судьбѣ людей. Скажи мнѣ,

царствует ли любовь на земномъ шарѣ? Курится ли оиміамъ на алтаряхъ добродѣтели? благоденствуютъ ли народы въ странахъ, тобою видѣнныхъ?“ — Свѣтъ наукъ, отвѣчалъ я, распространяется болѣе и болѣе; но еще струится на землѣ кровь человѣческая—ліются слезы несчастныхъ—хвалятъ имя добродѣтели, и спорятъ о существѣ ея.—Старецъ вздохнулъ и пожалъ плечами.

Узнавъ, что я Россіянинъ, сказалъ: „Мы приходимъ отъ одного народа съ вашимъ. Древніе жители острововъ Рюгена и Борнгольма были Славяне. Но вы прежде насъ озарились свѣтомъ Христіанства. Уже великолѣпные храмы, единому Богу посвященные, возносились къ облакамъ въ странахъ вашихъ; но мы, во мракѣ идолопоклонства, приносили кровавыя жертвы безчувственнымъ истуканамъ. Уже въ торжественныхъ гимнахъ славили вы великаго Творца вселенной; но мы, ослѣпленные заблужденіемъ, хвалили въ нестройныхъ пѣсняхъ идоловъ баснословія.“—Старецъ говорилъ со мною объ исторіи сѣверныхъ народовъ, о происшествіяхъ древности и новыхъ временъ; говорилъ такъ, что я долженъ былъ удивляться уму его, знаніямъ и даже краснорѣчію.

Черезъ полчаса онъ всталъ и пожелалъ мнѣ доброй ночи. Слуга, въ черномъ платьѣ, взявъ со стола одну свѣчу, повелъ меня черезъ длинные узкіе переходы — и мы вошли въ большую комнату, обвѣшенную древнимъ оружіемъ, мечами, копьями, латами и шишаками. Въ углу, подъ золотымъ балдахиномъ, стояла высокая кровать, украшенная рѣзбою и древними барельефами.

Мнѣ хотѣлось предложить множество вопросовъ сему человеку; но онъ, не дожидаясь ихъ, поклонился и ушелъ; желѣзная дверь хлопнула — звукъ страшно раздался въ пустыхъ стѣнахъ—и все утихло. Я легъ на постелью—смотрѣлъ на древнее оружіе, освѣщаемое сквозь маленькое окно слабымъ лучемъ мѣсяца—думалъ о своемъ хозяинѣ, о первыхъ словахъ: *здесь обитаетъ вѣчная горестъ*—мечталъ о временахъ прошедшихъ, о тѣхъ приключеніяхъ, которымъ сей

древній замокъ бывалъ свидѣтелемъ—мечталъ, подобно такому человѣку, которой между гробовъ и могилъ взираетъ на прахъ умершихъ, и оживляетъ его въ своемъ воображеніи.— Наконецъ образъ печальнаго Гревзендскаго незнакомца представился душѣ моей, и я заснулъ.

Но сонъ мой не былъ покоенъ. Мнѣ казалось, что всѣ латы, висѣвшія на стѣнѣ, превратились въ рыцарей; что сіи рыцари приближались ко мнѣ съ обнаженными мечами, и съ гнѣвнымъ лицомъ говорили: „Нещастной! какъ дерзнулъ ты пристать къ нашему острову? Развѣ не блѣднѣютъ плователи при видѣ гранитныхъ береговъ его? Какъ дерзнулъ ты войти въ страшное святилище замка? Развѣ ужасъ его не гремитъ во всѣхъ окрестностяхъ? Развѣ странникъ не удаляется отъ грозныхъ его башенъ? Дерзкой! умри за сіе пагубное любопытство!“—Мечи застучали надо мною; удары сыпались на грудь мою—но вдругъ все скрылось—я пробудился, и черезъ минуту опять заснулъ. Тутъ новая мечта возмутила духъ мой. Мнѣ казалось, что страшной громъ раздавался въ замкѣ; желѣзныя двери стучали, окна тряслися, полъ колебался, и ужасное крылатое чудовище, котораго описать не умѣю, съ ревомъ и свистомъ летѣло къ моей постелѣ. Сновидѣніе исчезло; но я не могъ уже спать, чувствовалъ нужду въ свѣжемъ воздухѣ, приблизился къ окну, увидѣлъ подлѣ него маленькую дверь, отворилъ ее, и по крутой лѣстницѣ сошелъ въ садъ.

Ночь была ясная; свѣтъ полной луны осребрялъ темную зелень на древнихъ дубахъ и вязахъ, которые составляли густую длинную аллею. Шумъ морскихъ волнъ соединялся съ шумомъ листьевъ, потрепываемыхъ вѣтромъ. Вдали бѣлѣлись каменные горы, которыя, подобно зубчатой стѣнѣ, окружаютъ островъ Боригольмъ; между ими и стѣнами замка видѣнъ былъ съ одной стороны большой лѣсъ, а съ другой открытая равнина и маленькія рощицы.

Сердце все еще билось у меня отъ страшныхъ сновидѣній, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступилъ въ

темную аллею, подъ кровъ шумящихъ дубовъ, и съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ углублялся во мракъ ея. Мысль о Друидахъ возбудилась въ душѣ моей—и мнѣ казалось, что я приближаюсь къ тому святилищу, гдѣ хранятся всѣ тайнства и всѣ ужасы ихъ богослуженія. Наконецъ сія длинная аллея привела меня къ розмариннымъ кустамъ, за коими возвышался песчаной холмъ. Мнѣ хотѣлось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свѣтѣ ясной луны взглянуть на картину моря и острова; но тутъ представилось глазамъ моимъ отверстіе во внутренность холма: человѣкъ съ трудомъ могъ войти въ него. Непреодолимое любопытство влекло меня въ сію пещеру, которая походила болѣе на дѣло рукъ человѣческихъ, нежели на произведеніе дикой Натуры. Я вошелъ—почувствовалъ сырость и холодъ, но рѣшился итти далѣе, и сдѣлавъ шаговъ десять впередъ, разсмотрѣлъ нѣсколько ступеней внизъ и широкую желѣзную дверь: она, къ моему удивленію, была не заперта. Какъ будто бы невольнымъ образомъ рука моя отворила ее—тутъ, за желѣзною рѣшеткою, на которой висѣлъ большой замокъ, горѣла лампада, привязанная ко своду; а въ углу на соломенной постелѣ лежала молодая, блѣдная женщина въ черномъ платьѣ. Она спала; русые волосы, съ которыми переплелись желтыя соломенки, закрывали высокую грудь ея, едва едва дышашую; одна рука, бѣлая, но изсохшая, лежала на землѣ, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописецъ хотѣлъ изобразить томную, безконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цвѣтами Морфея, то сія женщина могла бы служить прекраснымъ образомъ для кисти его.

Друзья мои! кого не трогаетъ видъ несчастнаго? Но видъ молодой женщины, страдающей въ подземной темницѣ—видъ слабѣйшаго и любезнѣйшаго изъ всѣхъ существъ, угнетеннаго судьбою, могъ бы влить чувство въ самой камень. Я смотрѣлъ на нее съ горестію, и думалъ самъ въ себѣ: „Какая варварская рука лишила тебя дневнаго свѣта? не уже ли за какое нибудь тяжкое преступленіе? Но миловидное

лице твое, но тихое движеніе груди твоей, но собственное сердце мое увѣряютъ меня въ твоей невинности!“

Въ самую сію минуту она проснулась — взглянула на рѣшетку — увидѣла меня — изумилась — подняла голову — встала — приблизилась — потупила глаза въ землю, какъ будто бы собираваясь съ мыслями — снова устремила ихъ на меня, хотѣла говорить, и — не начинала.

„Естьли чувствительность странника — (сказалъ я чрезъ нѣсколько минутъ молчанія) — рукою судьбы приведеннаго въ здѣшній замокъ и въ эту пещеру, можетъ облегчить твою участь; естьли искреннее его состраданіе заслуживаетъ твою довѣренность: требуй его помощи!“ — Она смотрѣла на меня неподвижными глазами, въ которыхъ видно было удивленіе, нѣкоторое любопытство, нерѣшимость и сомнѣніе. Наконецъ, послѣ сильнаго внутренняго движенія, которое какъ будто бы электрическимъ ударомъ потрясло грудь ея, отвѣчала твердымъ голосомъ: „Кто бы ты ни былъ, какимъ бы слѣдуемъ ни зашелъ сюда — чужеземецъ! я не могу требовать отъ тебя ничего, кромѣ сожалѣнія. Не въ твоихъ силахъ переимѣнить долю мою. Я лобызаю руку, которая меня наказываетъ.“ — Но сердце твое невинно, сказалъ я: оно конечно не заслуживаетъ такого жестокаго наказанія? — „Сердце мое, отвѣчала она, могло быть въ заблужденіи. Богъ проститъ слабую. Надѣюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомецъ!“ — Тутъ приблизилась она къ рѣшеткѣ, взглянула на меня съ ласкою, и тихимъ голосомъ повторила: „Ради Бога оставь меня!... Естьли онъ самъ послалъ тебя — тотъ, котораго страшное проклятiе гремитъ всегда въ моемъ слухѣ — скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь; что сердце мое высохло отъ горести; что слезы не облегчаютъ уже тоски моей. Скажи, что я безъ ропота, безъ жалобъ сношу заключеніе; что я умру его нѣжною, несчастною“ — Она вдругъ замолчала, задумалась, удалилась отъ рѣшетки, стала на колѣни и закрыла руками лице свое; черезъ минуту посмотрѣла на меня, снова потупила глаза въ землю, и ска-

зала съ нѣжною робостію: „Ты, можетъ быть, знаешь мою исторію; но если ты не знаешь, то не спрашивай меня—ради Бога не спрашивай!... Чужеземецъ, прости!“ — Я хотѣлъ итти, сказавъ ей нѣсколько словъ, излившихся прямо изъ души моей; но взоръ мой еще встрѣтился съ ея взоромъ—и мнѣ показалось, что она хочетъ узнать отъ меня нѣчто важное для своего сердца. Я остановился,—ждалъ вопроса; но онъ, послѣ глубокаго вздоха, умеръ на блѣдныхъ устахъ ея. Мы разстались.

Вышедши изъ пещеры, не хотѣлъ я затворить желѣзной двери, чтобы свѣжій, чистый воздухъ сквозь рѣшетку проникъ въ темницу и облегчилъ дыханіе несчастной. Заря алѣла на небѣ; птички пробудились; вѣтерокъ свѣвалъ росу съ кустовъ и цвѣточковъ, которые росли вокругъ песчанаго холма.— Боже мой! думалъ я—Боже мой! какъ горестно быть исключеннымъ изъ общества живыхъ, вольныхъ, радостныхъ тварей, которыми вездѣ населены необозримыя пространства Натуры! Въ самомъ сѣверѣ, среди высокихъ мшистыхъ скалъ, ужасныхъ для взора, твореніе руки Твоей прекрасно, — твореніе руки Твоей восхищаетъ духъ и сердце. И здѣсь, гдѣ пѣнистыя волны отъ начала міра сражаются съ гранитными утесами, — и здѣсь десница Твоя напечатлѣла живые знаки Творческой любви и благости; и здѣсь въ часъ утра розы цвѣтутъ на лазоревомъ небѣ; и здѣсь нѣжные зефиры дышатъ ароматами; и здѣсь зеленые ковры разстилаются какъ мягкой бархатъ подъ ногами человѣка; и здѣсь поютъ птички—поютъ весело для веселаго, печально для печальнаго, пріятно для всякаго; и здѣсь скорбящее сердце въ объятіяхъ чувствительной Природы можетъ облегчиться отъ бремени своихъ горестей! Но—бѣдная, заключенная въ темницѣ, не имѣетъ сего утѣшенія; роса утренняя не окропляетъ ея томнаго сердца; вѣтерокъ не освѣжаетъ истлѣвшей груди; лучи солнечныя не озаряютъ помраченныхъ глазъ ея; тихія бальзамическія изліянія луны не питаютъ души ея кроткими сновидѣніями и пріятными мечтами. Творецъ! почто даровалъ Ты людямъ гибельную

власть дѣлать несчастными другъ друга и самихъ себя? — Силы мои ослабѣли и глаза закрылись, подъ вѣтвями высокаго дуба, на мягкой зелени. Сонъ мой продолжался около двухъ часовъ.

„Дверь была отворена; чужестранецъ входилъ въ пещеру“ — вотъ что услышалъ я, проснувшись — открылъ глаза и увидѣлъ старца, хозяина своего; онъ сидѣлъ въ задумчивости на дерновой лавкѣ, шагахъ въ пяти отъ меня; подлѣ него стоялъ тотъ человѣкъ, который ввелъ меня въ замокъ. Я подошелъ къ нимъ. Старикъ взглянулъ на меня съ нѣкоторою суровостію; всталъ, пожалъ мою руку — и видъ его сдѣлался ласковѣе. Мы вошли вмѣстѣ въ густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что онъ въ душѣ своей колебался, и былъ въ нерѣшимости; но вдругъ остановился, и устремивъ на меня проницательный, огненный взоръ, спросилъ твердымъ голосомъ: *ты видѣлъ ее?* — Видѣлъ, отвѣчалъ я, видѣлъ, не узнавъ, кто она, и за что страдаетъ въ темницѣ. — Узнаешь, сказалъ онъ, узнаешь, молодой человѣкъ, и сердце твое обольется кровію. Тогда спросишь у самого себя: за что Небо изліяло всю чашу гнѣва Своего на сего слабого, сѣдаго старца, старца, которой любилъ добродѣтель, которой чтилъ святые законы Его? — Мы сѣли подъ деревомъ, и старецъ разсказалъ мнѣ ужаснѣйшую исторію — исторію, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она останется до другаго времени. На сей разъ скажу вамъ одно то, что я узналъ тайну Древзендскаго незнакомца, — тайну страшную! —

Матрозы дожидались меня у воротъ замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольмъ скрылся отъ глазъ нашихъ.

Море шумѣло. Въ горестной задумчивости стоялъ я на палубѣ, взявшись рукою за мачту. Вздохи тѣснили грудь мою — наконецъ я взглянулъ на небо, — и вѣтеръ свѣялъ въ море слезу мою.

IX.

ПОСЛАНИЕ КЪ ДМИТРИЕВУ <sup>1)</sup>.

1793.

Конечно такъ—ты правъ, мой другъ!  
Цвѣтъ счастья скоро увядаетъ,  
И юность наша есть тотъ лугъ,  
Гдѣ сей красавецъ расцвѣтаетъ.  
Тогда въ эирѣ мы живемъ,  
И нектаръ сладостный пьемъ  
Изъ полной Олимпійской чаши;  
Но жизни алая весна  
Есть мигъ—увь! пройдетъ она,  
И съ нею мысли, чувства наши  
Лишатся свѣжести своей.  
Что прежде душу веселило,  
Къ себѣ съ улыбкою манило,  
Не мило, скучно будетъ ей.  
Надежды и мечты златыя  
Какъ птички быстро улетятъ,  
И тѣни хладныя, густыя  
Надъ нами солнце затемнятъ—  
Тогда, подобно Иксиону,  
Не милую свою Юнону,  
Но дымъ увидимъ предъ собой <sup>2)</sup>!  
И я, о другъ мой! наслаждался  
Своею красною весной;  
И я мечтами обольщался—  
Любилъ съ горячностью людей,  
Какъ нѣжныхъ братій и друзей;  
Желалъ добра имъ всей душею;

---

<sup>1)</sup> Въ отвѣтъ на его стихи, въ которыхъ онъ жалуется на скоротечность щастливой молодости.

<sup>2)</sup> Извѣстно изъ Мифологіи, что Иксионъ, желая обнять Юнону, обнялъ облако и дымъ.

Готовъ былъ кровію моею  
Пожертвовать для щастья ихъ,  
И въ самыхъ горестяхъ своихъ  
Надеждой сладкой веселился  
Не бесполезно жить для нихъ—  
Мой духъ сей мыслию гордился!  
Источникъ радостей и благъ  
Открыть въ чувствительныхъ душахъ;  
Плѣнить ихъ истиной святою,  
Ея нетлѣнной красотой;  
Орудіемъ Небеснымъ быть  
И въ памяти потомства жить,  
Казалось мнѣ всего славнѣе,  
Всего прекраснѣе, милѣе!  
Я жребій свой благословлялъ,  
Любуясь прелестью награды—  
И тихій свѣтъ моей лампы  
Съ звѣздою утра угасалъ.  
Златое, дневное свѣтило  
Примѣромъ, образцемъ мнѣ было...  
Почто, почто, мой другъ, не вѣкъ  
Обманомъ щастливъ человѣкъ?  
Но время, опытъ разрушаютъ  
Воздушный замокъ юныхъ лѣтъ;  
Красы волшебства исчезаютъ...  
Теперь иной я вижу свѣтъ,—  
И вижу ясно, что съ Платономъ  
Республикъ намъ не учредить,—  
Съ Питтакомъ, Фалесомъ, Зенономъ  
Сердце жестокихъ не смягчить.  
Ахъ! зло подъ солнцемъ безконечно,  
И люди будутъ—люди вѣчно.  
Когда несчастныхъ Данаидъ <sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Онѣ въ подземномъ мірѣ льютъ безпрестанно воду въ худой сосудъ.

Сосудъ наполнится водою,  
Тогда, чудесною судьбою,  
Нашъ шаръ приметъ лучшій видъ:  
Сатурнъ на землю возвратится,  
И тигра съ агнцемъ помирить;  
Богатый съ бѣднымъ подружится,  
И слабый сильнаго простить.  
Дотолѣ истина опасна,  
Однимъ скучна, другимъ ужасна;  
Никто не хочетъ ей внимать—  
И часто ядъ тому есть плата,  
Кто гласомъ мудраго Сократа  
Дерзаетъ буйству угрожать.  
Гордецъ не любитъ наставленья,  
Глупецъ не терпитъ просвѣщенья—  
И такъ лампаду угасимъ,  
Желая доброй ночи имъ.

Но что же намъ, о другъ любезный!  
Осталось дѣлать въ жизни сей,  
Когда не можемъ быть полезны,  
Не можемъ премѣнить людей?  
Оплакать бѣдныхъ смертныхъ долю,  
И мрачный свѣтъ предать на волю  
Судьбы и Рока: пусть они,  
Симъ міромъ правя искони,  
И впредь творять, что имъ угодно!  
А мы, любя дышать свободно,  
Себѣ построимъ тихій кровъ,  
За мрачной сѣнію лѣсовъ,  
Куда бы злые и невѣжды  
Вовѣкъ дороги не нашли,  
И гдѣ бъ, безъ страха и надежды,  
Мы въ мирѣ жить съ собой могли,  
Гнушаться издали порокомъ,  
И яснымъ, терпѣливымъ окомъ

Взирать на тучи, вихрь суетъ,  
Отъ грома, бури укрываясь,  
И въ чистомъ сердцѣ наслаждаясь  
Мерцаніемъ вечернихъ лѣтъ,  
Остаткомъ теплыхъ дней осеннихъ.  
Хотя ужъ нѣтъ цвѣтовъ весеннихъ  
У насъ на лицахъ, на устахъ,  
И юный огнь погасъ въ глазахъ;  
Хотя красавицы престали  
Меня любезнымъ называть —  
(Зефиры съ нами отыграли!)  
Но мы не должны унывать:  
Живемъ по общему закону!...  
Отелло въ старости своей  
Плѣнилъ младую Дездемону <sup>1)</sup>  
И вкрался тихо въ сердце къ ней  
Любозныхъ Музъ прелестнымъ даромъ.  
Онъ съ нѣжнымъ, трогательнымъ жаромъ  
Въ картинахъ ей изображалъ,  
Какъ случай въ жизни имъ игралъ;  
Какъ онъ за дальними морями,  
Необозримыми степями,  
Между ревущихъ, пѣнныхъ рѣкъ,  
Среди лѣсовъ густыхъ, дремучихъ,  
Песковъ горящихъ и сыпучихъ,  
Гдѣ люди не бывали ввѣкъ,  
Безстрашно въ юности скитался,  
Со львами, тиграми сражался,  
Терпѣлъ жестокой зной и хладъ,  
Терпѣлъ усталость, жажду, гладъ.  
Она внимала, удивлялась;  
Брала участіе во всемъ;  
Въ опасность вмѣстѣ съ нимъ вдавалась,

---

<sup>1)</sup> Смотри Шекспирову трагедію Отелло.

И въ нѣжномъ пламени своемъ,  
Съ блестящею въ очахъ слезою,  
Сказала: я люблю тебя!  
И мы, любезный другъ, съ тобою  
Найдемъ подругу для себя,  
Подругу съ милою душою.  
Она пріятностью своею  
Украситъ западъ нашихъ дней.  
Бесѣда опытныхъ людей,  
Ихъ басни, повѣсти и были  
(Насъ лѣта сказкамъ научили!)  
Ея вниманіе займутъ,  
Ея любовь пріобрѣтутъ.  
Любовь и дружба—вотъ чѣмъ можно  
Себя подъ солнцемъ утѣшать!  
Искать блаженства намъ не должно,  
Но должно—менѣе страдать;  
И кто любилъ, кто былъ любимымъ,  
Былъ другомъ нѣжнымъ, другомъ чтимымъ,  
Тотъ въ мірѣ семъ не даромъ жилъ,  
Не даромъ землю бременилъ.

Пусть громы небо потрясаютъ,  
Злодѣи слабыхъ угнетаютъ,  
Безумцы хвалятъ разумъ свой!  
Мой другъ! не мы тому виной.  
Мы слабыхъ здѣсь не угнетали,  
И всѣмъ ума, добра желали:  
У насъ не черныя сердца!  
И такъ безъ трепета и страха  
Намъ можно ожидать конца  
И лечь во гробъ, жилище праха.  
Завѣса вѣчности страшна  
Убійцамъ, кровью обгареннымъ,  
Слезами бѣдныхъ орошеннымъ.  
Въ комъ духъ и совѣсть безъ пятна,

Тотъ съ тихимъ чувствіемъ встрѣчаетъ  
Златую Фебову стрѣлу <sup>1)</sup>  
И Ангелъ мира освѣщаетъ  
Предъ нимъ густую смерти мглу:  
Тамъ—тамъ—за синимъ океаномъ,  
Вдали въ мерцаніи багрянѣмъ,  
Онъ зрѣтъ... но мы еще не зримъ.

X.

МЕЛОДОРЪ КЪ ФИЛАЛЕТУ<sup>2)</sup>.

1795.

Гдѣ ты, любезный Филалеть? Въ какомъ уединеніи скрываешься? Какіе предметы занимаютъ душу твою? Чѣмъ питается твое сердце? Что дѣлаетъ тебѣ жизнь пріятною?—И думаешь ли нынѣ о своемъ Мелодорѣ?

Ахъ! гдѣ ты? Сердце мое тебя проситъ, требуетъ. Оно помнитъ любезные твои взоры, сладкой голосъ, и нѣжныя, чувствомъ согрѣваемые объятія, въ которыхъ жизнь бывала

---

<sup>1)</sup> Древніе Поэты говорили, что золотая Фебова стрѣла приноситъ смерть человѣку.

<sup>2)</sup> Посланія М. къ Ф., явившіяся въ эпоху ужасовъ французской революціи, по замѣчанію А. Д. Галахова, не что иное, какъ двойной голосъ одного и того же человѣка: сначала голосъ потрясеннаго убѣжденія, потомъ голосъ убѣжденія возстановленнаго. Мелодоръ и Филалеть—тотъ же Карамзинъ, только въ двухъ моментахъ духовнаго состоянія. Мелодоръ — это Карамзинъ, убоавшійся, по поводу грозныхъ событій, за успѣхи просвѣщенія: благородный страхъ, напоминающій опасеніе Ломоносова, чтобы смерть Рихмана не была перетолкована во вредъ Науку. Мелодоръ—это Карамзинъ, отъ котораго удалась радостная мысль о совершенствѣ людей, о повсемѣстномъ владычествѣ истины и добродѣтели, который отягченъ уныніемъ и даже отчаяніемъ, теряя вѣру въ историческій прогрессъ, помышляя о назиданіи человѣчества или по крайней мѣрѣ о круговоротѣ событій, т. е. возникновеніи однихъ и тѣхъ же общественныхъ явленій. Ему противопоставленъ Филалеть, т. е., по словамъ того же критика, Карамзинъ—послѣдователь оптимизма, убѣжденный, что все къ лучшему, что впереди ожидаютъ насъ лучшія времена.

ему вдвое милѣе—помнить, и велить глазамъ моимъ искать тебя—велить рукамъ моимъ къ тебѣ простираться!

Океанъ шумѣлъ между нами: теперь мы въ одной землѣ—и не вмѣстѣ!—Скажи слово, и Мелодоръ летитъ къ тебѣ!—Въ ожиданіи сей минуты буду хотя писать къ любезнѣйшему изъ друзей моихъ.

Пять лѣтъ мы не видались: сколько времени? Сколько перемѣнъ въ свѣтѣ—и въ сердцахъ нашихъ?.. Тысячи мыслей волнуются въ душѣ моей. Я хотѣлъ бы вдругъ перелить ихъ въ твою душу, безъ помощи словъ, которыхъ искать надобно: хотѣлъ бы открыть тебѣ грудь мою, чтобъ ты собственными глазами могъ читать въ ней сокровенную исторію друга твоего, и видѣть—прости мнѣ *смѣлое* выраженіе—видѣть всѣ развалины *надеждъ и замысловъ*, надъ которыми въ тихіе часы ночи сѣтуетъ нынѣ духъ мой, подобно страннику, воздыхающему на развалинахъ Иліона, стовратныхъ Оивъ или великолѣпнаго Греческаго храма, когда блѣдный свѣтъ луны освѣщаетъ ихъ!

Помнишь, другъ мой, какъ мы нѣкогда разсуждали о нравственномъ мірѣ, ловили въ Исторіи всѣ благородныя черты души человѣческой, питали въ груди своей эфирное пламя любви, котораго вѣяніе возносило насъ къ небесамъ, и проливая сладкія слезы, восклицали: *человѣкъ великъ духомъ своимъ! Божество обитаетъ въ его сердцѣ!* Помнишь, какъ мы, сличая разные времена, древнія съ новыми, искали и находили доказательство любезной намъ мысли, что *родъ человѣческой возвышается, и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается къ духовному совершенству.* Ахъ! съ какою нѣжностію обнимали мы въ душѣ своей всѣхъ земнородныхъ, какъ милыхъ дѣтей небеснаго Отца! — Радость сіяла на лицахъ нашихъ—и свѣтлой ручеекъ, и зеленая травка, и алой цвѣточикъ, и поющая птичка, все, все насъ веселило! Природа казалась намъ обширнымъ садомъ, въ которомъ зрѣеть божественность человѣчества.

Кто болѣе нашего славилъ преимущества осьмагонадесять вѣка: свѣтъ Философіи, смягченіе нравовъ, тонкость разума и чувства, размноженіе жизненныхъ удовольствій, всемѣстное распространеніе духа общности, тѣснѣйшую и дружественнѣйшую связь народовъ, кротость Правленій, и пр. и пр.? — Хотя и являлись еще нѣкоторыя черныя облака на горизонтѣ человѣчества; но свѣтлый лучъ надежды златилъ уже края оныхъ предъ нашимъ взоромъ — надежды: „все исчезнетъ, и царство общей мудрости настанетъ, рано или поздно настанетъ—и блаженъ тотъ изъ смертныхъ, кто въ краткое время жизни своей успѣлъ разсѣять хотя одно мрачное заблужденіе ума человѣческаго, успѣлъ хотя однимъ шагомъ приблизить людей къ источнику всѣхъ истинъ, успѣлъ хотя единое плодотворное зерно добродѣтели вложить рукою любви въ сердце чувствительныхъ и такимъ образомъ ускорилъ ходъ всемірнаго совершенія!“

Конецъ нашего вѣка почитали мы концемъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества, и думали, что въ немъ послѣдуетъ важное, общее соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣятельностію; что люди, увѣрившись нравственнымъ образомъ въ изысканности законовъ чистаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности, и подъ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, наслаждаются истинными благами жизни.

О Филалетъ! гдѣ теперь сія утѣшительная система?... Она разрушилась въ своемъ основаніи.

Осьмнадцатый вѣкъ кончается: что же видишь ты на сценѣ міра?—Осьмнадцатый вѣкъ кончается, и несчастный филантропъ<sup>1)</sup> мѣрять двумя шагами могилу свою, чтобы лечь въ ней съ обманутымъ, растерзаннымъ сердцемъ своимъ и закрытъ глаза навѣки!

Кто могъ думать, ожидать, предчувствовать!.. Мы надѣялись скоро видѣть человѣчество на горней степени величія, въ вѣнцѣ славы, въ лучезарномъ сіяніи, подобно Ангелу

---

<sup>1)</sup> То есть, другъ людей.

Божію, когда онъ, по священнымъ сказаніямъ, является очамъ добрыхъ,—съ небесною улыбкою, съ мирнымъ благовѣстіемъ!—Но вмѣсто сего восхитительнаго явленія видимъ.... Фуриі съ грозными пламенниками!

Гдѣ люди, которыхъ мы любили. Гдѣ плодъ Наукъ и мудрости? Гдѣ возвышеніе кроткихъ, нравственныхъ существъ, сотворенныхъ для щастія?—Вѣкъ просвѣщенія! я не узнаю тебя — въ крови и пламени не узнаю тебя — среди убійствъ и разрушенія не узнаю тебя!.. Небесная красота прельщала взоръ мой, воспаляла мое сердце нѣжнѣйшею любовью; въ сладкомъ упоеніи стремился къ ней духъ мой! но—небесная красота исчезла—змѣи шипятъ на ея мѣстѣ!—Какое превращеніе!

Свирѣпая война опустошаетъ Европу, столицу Искусствъ и Наукъ, хранилище всѣхъ драгоценностей ума человѣческаго; драгоценностей, собранныхъ вѣками; драгоценностей, на которыхъ основывались всѣ планы мудрыхъ и добрыхъ!—И не только миллионы погибаютъ; не только города и села исчезаютъ въ пламени; не только благословенныя, цвѣтушія страны (гдѣ щедрая Натура отъ начала міра изливала изъ полной чаши лучшіе дары свои) въ горестныя пустыни превращаются—сего не довольно: я вижу еще другое, ужаснѣйшее зло для бѣднаго человѣчества.

Мизософы<sup>1)</sup> торжествуютъ: „Вотъ плоды вашего просвѣщенія! говорятъ они: вотъ плоды вашихъ Наукъ, вашей мудрости! Гдѣ воспылалъ огонь раздора, мятежа и злобы? Гдѣ первая кровь обагрила землю? и за что?.. И откуда взялись сіи пагубныя идеи?.. Да погибнетъ же ваша Философія!..“—И бѣдный, лишенный отечества, и бѣдный, лишенный крова, и бѣдный, лишенный отца, или сына, или друга, повторяетъ: *да погибнетъ!* И доброе сердце, раздираемое зрѣлищемъ лютыхъ бѣдствій, въ горести своей повто-

---

<sup>1)</sup> Ненавистники Наукъ.

ряетъ: *да погибнетъ!* — А сія восклицанія могутъ составить наконецъ *общее мнѣніе*: вообрази же слѣдствія!

Кровопротііе не можетъ быть вѣчно: я увѣренъ. Рука, сѣкущая мечемъ, утомится; сѣра и селитра истощатся въ нѣдрахъ земли, и грома умолкнутъ; тишина рано или поздно настанетъ—но какова будетъ тишина сія? Естьли мертвая, хладная, мрачная?

Такъ, мой другъ, паденіе Наукъ кажется мнѣ не только возможнымъ, но и вѣроятнымъ; не только вѣроятнымъ, но даже неминуемымъ, даже близкимъ. Когда же падутъ онѣ... когда ихъ великолѣпное зданіе разрушится, благодѣтельные лампы угаснутъ — что будетъ? Я ужасаюсь, и чувствую трепеть въ сердцѣ! — Положимъ, что нѣкоторыя искры и спасутся подъ пепломъ; положимъ, что нѣкоторые люди и найдутъ ихъ, и освѣтятъ ими тихія, уединенныя свои хижины; но что же будетъ съ міромъ, съ *цѣлымъ* человѣческимъ родомъ? Ахъ, мой другъ! для добрыхъ сердецъ нѣтъ счастья, когда они не могутъ дѣлить его съ другими. Истинный мудрецъ благословляетъ мудрость свою для того, что можетъ сообщать оную ближнимъ; иначе — смѣю сказать — будетъ она бременемъ для его человѣколюбивой души. Александръ не принялъ сосуда съ водою, и не хотѣлъ утолять жажды своей тогда, когда все воинство его томилось; въ сію минуту былъ онъ подлинно Великимъ Александромъ! Такія движенія неизвѣстны эгоистамъ; за то первый врагъ истинной Философіи есть эгоизмъ.

Сверхъ того внимательный наблюдатель видитъ теперь повсюду отверстыя гробы для *нужной нравственности*. Сердца ожесточаются ужасными происшествіями, и привыкая къ феноменамъ злодѣяній, теряютъ чувствительность. Я закрываю лице свое!

Ахъ, другъ мой! уже ли родъ человѣческой доходилъ въ наше время до крайней степени возможнаго просвѣщенія, и долженъ, дѣйствіемъ какого нибудь чуднаго и тайнаго закона, ниспадать съ сей высоты, чтобы снова погрузиться въ

варварство и снова, мало по малу, выходить изъ онаго, подобно Сизифову камню, который, будучи внесенъ на верхъ горы, собственною своею тяжестію скатывается внизъ, и опять рукою вѣчнаго труженика на гору возносится? — Горестная мысль! печальный образъ!

Теперь мнѣ кажется, будто самыя лѣтописи доказываютъ *вѣроятности* сего мнѣнія. Намъ едва извѣстны имена древнихъ Азіатскихъ народовъ и царствъ; но по нѣкоторымъ историческимъ отрывкамъ, до насъ дошедшимъ, можно думать, что сіи народы были не варвары; что они имѣли свои Искусства, свои Науки: кто знаетъ тогдашніе успѣхи разума человѣческаго? Царства разрушались, народы исчезали; изъ праха ихъ, подобно какъ изъ праха фениксова, раждались новыя племена, раждались въ сумракѣ, въ мерцаніи, младенчествовали, учились и—славились. Можетъ быть, эоны погрузились въ вѣчность, и нѣсколько разъ сіялъ день въ умахъ людей, и нѣсколько разъ ночь темнила души, прежде нежели возсіялъ Египетъ, съ котораго начинается полная Исторія. Библіотека Озимаидіасова была, конечно, не первая въ мірѣ; была вѣрно не что иное, какъ спасенный остатокъ древнѣйшихъ библіотекъ.

Египетское просвѣщеніе соединяется съ Греческимъ: первое оставило намъ однѣ развалины, но великолѣпныя, краснорѣчивыя развалины; картина Греціи жива передъ нами. Тамъ все прельщаетъ зрѣніе, душу, сердце; тамъ красуются Ликурги и Солоны, Кодры и Леониды, Сократы и Платоны, Гомеры и Софоклы, Фидіи и Зевксисы—однимъ словомъ, тамъ должно дивиться утонченнымъ дѣйствіямъ разума и нравственности. Римляне учились въ сей великой школѣ, и были достойны своихъ учителей.

Что жъ послѣдовало за сею блестящею эпохою человѣчества? Варварство многихъ вѣковъ, варварство ума и нравовъ—эпоха мрачная—сцена, покрытая чернымъ флеромъ для глазъ чувствительнаго философа!

Медленно рѣдѣла, медленно прояснялась сія густая тьма. Наконецъ солнце Наукъ возсіяло, и Философія изумила насъ быстрыми своими успѣхами. Добрые, легковѣрные челоуѣколюбцы заключали отъ успѣховъ къ успѣхамъ; исчисляли, измѣряли путь ума; напрягали взоръ свой — видѣли близкую цѣль совершенства, и въ радостномъ упоеніи восклицали: *берегъ!*.. Но вдругъ небо дымится, и судьба челоуѣчества скрывается въ грозныхъ туманахъ! — О потомство! какая участь ожидаетъ тебя?

Естьли опять возвратится на землю третій и четвертый-надесять вѣкъ?.. Мы конечно не доживемъ до сего; но можемъ ли умирать покойно? И что надпишемъ надъ гробами своими? Развѣ скажемъ съ Сарданапаломъ: *Прохожій! услаждай свои чувства; все прочее ничто!*<sup>1)</sup> — О мой другъ!

Печальныя сомнѣнія волнуютъ мою душу, и шумной горю, въ которомъ живу, кажется мнѣ пустынею. Вижу людей; но взоръ мой не находитъ сердца въ ихъ взорахъ. Слышу разсужденія, и опускаю глаза въ землю. — Говорю, но вѣтеръ разноситъ слова мои.... мертвое эхо повторяетъ ихъ!

Иногда несносная грусть тѣснить мое сердце; иногда упадаю на колѣни, и простираю руки свои — къ Невидимому... Нѣтъ отвѣта! — Голова моя клонится къ сердцу.

Самая Природа не веселитъ меня. Она лишилась вѣнца своего въ глазахъ моихъ, съ того времени, какъ не могу уже въ ея объятіяхъ мечтать о близкомъ щастіи людей; съ того времени, какъ удалилась отъ меня радостная мысль о ихъ совершенствѣ, о царствѣ истины и добродѣтели; съ того времени, какъ я не знаю, что мнѣ думать о феноменахъ нравственнаго міра, чего ожидать и надѣяться!

Вѣчное движеніе въ одномъ кругу; вѣчное повтореніе, вѣчная смѣна дня съ ночью и ночи со днемъ; вѣчное смѣ-

---

<sup>1)</sup> Квинтъ-Курцій пишетъ, что Александръ Великій нашелъ гробъ Сарданапаловъ съ сего надписью.

пеніе истинъ съ заблужденіями, и добродѣтелей съ пороками; капля радостныхъ и море горестныхъ слезъ... мой другъ! начто жить мнѣ, тебѣ и всѣмъ? Начто жили предки наши? Начто будетъ жить потомство?

Суди о хаосѣ души моей, который представляетъ мнѣ все твореніе въ безпорядкѣ! Смотрю на восходящее солнце, и спрашиваю: почто восходишь? Стою подъ сѣнію шумящаго дуба, и спрашиваю: почто шумишь?—Теперь все существуетъ для меня безъ цѣли.

Вообрази себѣ человѣка, заснувшаго сладкимъ сномъ въ тихомъ своемъ кабинетѣ, подлѣ нѣжной супруги, среди милыхъ дѣтей, и вдругъ, очарованіемъ какихъ нибудь злыхъ волшебниковъ, принесеннаго на степь Африканскую — удары грома пробуждаютъ его—несчастный открываетъ глаза, видитъ ночь и пустыню вокругъ себя—изумляется—думаетъ, и не понимаетъ, гдѣ онъ, и что съ нимъ случилось—слышитъ вездѣ ревъ звѣрей, и не знаетъ, куда итти... Гдѣ мирное жилище его? гдѣ нѣжная супруга? гдѣ милыя дѣти?.. Нѣтъ пути! нѣтъ спасенія!.. Онъ терзается, проливаетъ слезы, и устремляетъ взоръ на небо; но небо покрыто тьмою, небо грозно! — Состояніе сего человѣка нѣкоторымъ образомъ подобно моему.

Дружба, священная, любезная дружба! въ твои объятія изливаетъ сердце мое—сердце, жестоко уязвленное—горестныя свои чувства. Оживи его благотворнымъ своимъ бальзамомъ; улади нѣжнымъ состраданіемъ!

Филалетъ! ты вмѣстѣ со мною веселился нѣкогда жизни, Природою, человѣчествомъ; теперь скорби со мною, или утѣшь меня!

Духъ мой унылъ, слабъ и печаленъ; но я достоинъ еще дружбы твоей, ибо я—люблю еще добродѣтель!—Вотъ черта, по которой ты всегда узнаешь Мелодора; узнаешь и въ бурю, и въ грозу, и на краю могилы!

XI.

**ФИЛАЛЕТЪ БЪ МЕЛОДОРУ.**

1795.

Мелодоръ! слезы катились изъ глазъ моихъ, когда я читала любовное письмо твое. Давно уже такія сладкія чувства не посѣщали моего сердца. Благодарю тебя! Самая неразрывная дружба есть та, которая начинается въ юности—неразрывная и пріятнѣйшая. Она сливается въ чувствительной системѣ нашей со всѣми плѣнительными воспоминаніями весеннихъ лѣтъ, сего краснаго утра жизни, лучшей эпохи нравственного бытія. Два добрыхъ сердца, привыкшія любить другъ друга, находятъ въ сей любви источникъ нѣжнѣйшихъ удовольствій и добродѣтельнѣйшихъ радостей. Ахъ, мой другъ! можешь ли сомнѣваться въ постоянствѣ своего Филалета? Вездѣ, гдѣ ни былъ я, — и въ жаркихъ и въ холодныхъ Зонахъ — вездѣ образъ твой путешествовалъ со мною, освѣжалъ томнаго странника подъ огненнымъ небомъ Ливіи, и согрѣвалъ его въ предѣлахъ льдистаго Полюса. Наконецъ я въ отечествѣ, и не съ тобою? но мнѣ сказали, что ты уѣхалъ въ чужія земли. Къ счастью сіе извѣстіе, огорчившее меня, было несправедливо. Мелодоръ въ одной странѣ съ Филалетомъ!.. Спѣши, спѣши къ своему другу! Въ сельскихъ кущахъ ожидаю тебя—тамъ, гдѣ нѣкогда съ улыбкою встрѣчали мы весну, съ грустію провожали лѣто; гдѣ заключился навѣки союзъ душъ нашихъ.

Мой другъ! письмо твое ознаменовано печатію меланхоліи. Ты безпокоенъ, ты печаленъ; сердце твое страдаетъ, милыя надежды твои исчезли; ты ищешь на театрѣ міра—и не находишь всѣхъ благородныхъ существъ, тѣхъ людей, которыхъ нѣкогда любили мы съ такимъ жаромъ. Однимъ словомъ, новыя ужасныя происшествія Европы разрушили всю прежнюю утѣшительную систему твою, разрушили и повергнули тебя въ море неизвѣстности и недоумѣній: мучительное состояніе для умовъ дѣятельныхъ!

\*

Мелодоръ! я не надѣюсь утѣшить тебя совершенно, не надѣюсь сказать тебѣ ничего новаго; но любовь имѣетъ особливую силу, и всякой даръ любви, всякое слово любви производитъ благое дѣйствіе. Часто самая простая мысль, согрѣтая огнемъ дружбы, бываетъ яркимъ лучемъ свѣта, разсѣвающимъ густую хладную тьму сердца нашего.

Подобно тебѣ смотрю я внимательнымъ окомъ на всѣ явленія въ мірѣ; вздыхаю, подобно тебѣ, о бѣдствіяхъ человѣчества, и признаюсь искренно, что грозныя бури нашихъ временъ могутъ поколебать систему всякаго добродушнаго Флософа.

Но не ужели, другъ мой, не найдемъ мы никакого успокоенія во глубинѣ сердецъ нашихъ? Ужели, въ отчаяніи горести, будемъ проклинать міръ, Природу и человѣчество? Ужели откажемся навѣки отъ своего разума, и погрузимся во тьму унынія и душевнаго бездѣйствія? — Нѣтъ, нѣтъ! снѣ мысли ужасны. Сердце мое отвергаетъ ихъ, и сквозь густоту ночи, стремится къ благотворному свѣту, подобно мореплавателю, который въ гибельный часъ кораблекрушенія—въ часъ, когда всѣ стихіи угрожаютъ ему смертію — не теряетъ надежды, сражается съ волнами, и хватается рукою за плывущую доску.

Такъ, Мелодоръ, я хочу спастись отъ кораблекрушенія съ моимъ добрымъ мнѣніемъ о Провидѣніи и человѣчествѣ, мнѣніемъ, которое составляетъ драгоцѣнность души моей. Пусть міръ разрушится на своемъ основаніи: я съ улыбкою паду подъ смертоносными громами, и улыбка моя среди всеобщихъ ужасовъ, скажетъ Небу: *Ты благо и премудро; благо твореніе руки Твоей; благо сердце человеческое, изящнѣйшее произведеніе любви Божественной!*

Уничтожся навѣки мысленная и чувствительная сила моя, прежде нежели повѣрю, что сей міръ есть пещера разбойниковъ и злодѣевъ, добродѣтель—чуждое растеніе на земномъ шарѣ, просвѣщеніе—острый кинжалъ въ рукахъ убійцы! Нѣтъ, мой другъ! пусть докажутъ мнѣ напередъ, что Богъ не су-

ществуетъ; что Провидѣніе есть одно слово безъ значенія; что мы дѣти случая, слѣпленія атомовъ, и болѣе ничего! Но гдѣ же тотъ безумный извергъ, который захотѣлъ бы увѣрить меня въ сихъ страшныхъ нелѣпостяхъ? Я взгляну на сафирное небо, взгляну на цвѣтушую землю, положу руку на сердце, и скажу атеисту: ты безумецъ!

Неужели, видя Бога въ естественномъ мірѣ, видя руку Его въ теченіи планетъ, въ порядкахъ солнечныхъ, въ перемѣнѣ годовыхъ временъ и во всѣхъ физическихъ явленіяхъ нашей земной обители, будемъ мы отрицать Его содѣйствіе въ одномъ нравственномъ мірѣ, который по существу своему долженъ быть, если смѣю сказать, ближе перваго къ сердцу великаго Божества? Соглашаюсь, что порядокъ нравственный не столь ясенъ для насъ, какъ порядокъ физическій; но сіе затрудненіе не происходитъ ли отъ слабости нашего разума? Можетъ быть единственно отъ того мы и не постигаемъ нравственной гармоніи, что она есть высочайшая, совершеннѣйшая. Дай несвѣдущему творенію Локковы: что онъ скажетъ объ нихъ? Дай ему сказку Кребилъионову: онъ восхитится ею. Последняя хороша въ своемъ родѣ; но въ ней ли наиболѣе удивляетъ насъ умъ человѣческій? — Можетъ быть то, что кажется смертному великимъ неустройствомъ, есть чудесное согласіе для Ангеловъ; можетъ быть то, что кажется намъ разрушеніемъ, есть для ихъ небесныхъ очей новое, совершеннѣйшее бытіе. Сіи мысли ведутъ меня ко святилищу Божественной премудрости, густымъ мракомъ окруженному; духъ мой, брэнною плотію одѣянный, не можетъ проникнуть въ оное; упадаю во прахъ своего ничтожества, и въ младенческомъ сердцѣ обожаю Всетворящаго.

Скажи, мой другъ, скажи, чего бы не лзя было ожидать отъ Всевышняго и тогда, когда бъ рука Его возжгла только единое солнце на голубомъ небесномъ сводѣ? Но тамъ горятъ ихъ билліоны. Тотъ, кто великолѣпно прославилъ Себя въ Натурѣ, великолѣпно прославить Себя и въ человѣчествѣ. — Не будемъ требовать отъ вѣчной Премудрости отчета въ тем-

ныхъ путяхъ Ея; не будемъ требовать того для собственнаго нашего спокойствія!—Знаешь ли, что всего болѣе плѣняетъ меня въ дружбѣ? Довѣренность, которую два сердца имѣютъ одно къ другому. Пусть гнусное злословіе всѣми стрѣлами своими язвитъ отдаленнаго Питіаса: Дамонъ внимаетъ клеветѣ и съ презрѣніемъ отвергаетъ ее <sup>1)</sup>. *Нѣтъ! я знаю моего друга; идѣ бы онъ ни былъ, добродѣтель вездѣ съ нимъ; что бы онъ ни сдѣлалъ, дѣло его не преступленіе.* Мелодоръ! для чего къ Провидѣнію не имѣть намъ той довѣренности, которую два человѣка могутъ имѣть одинъ къ другому? Богъ вложилъ чувство въ наше сердце; Богъ вселилъ въ мою и въ твою душу ненависть ко злѣ, любовь къ добродѣтели: сей Богъ конечно обратитъ все къ цѣли общаго блага.

Сія драгоценная вѣра можетъ чудеснымъ образомъ успокоить доброе сердце, возмущенное страшными феноменами на театрѣ міра. Вкуси сладость ея, мой любезный другъ, и лучъ утѣшенія кротко озаритъ мракъ души твоей!—Горе той философіи, которая все рѣшить хочетъ? Теряясь въ лабиринтѣ неизвѣстныхъ затрудненій, она можетъ довести насъ до отчаянія, и тѣмъ скорѣе, чѣмъ естественно-добрѣе сердце наше. Иногда, признаюсь тебѣ, я самъ бываю слабъ и печаленъ; отвращаюсь отъ свѣта, отъ людей, и говорю съ Грессетомъ:

Je suis mal où je suis, et je veux être bien;

душа моя стремится во мракъ какихъ нибудь неизвѣстныхъ лѣсовъ, во мракъ—самаго ничтожества; но я стараюсь уменьшать число такихъ минутъ въ жизни моей, оживляя въ душѣ мысль о всетворящемъ Божествѣ, Которое не есть Божество Лукреціево, не есть Божество Эпикурово. „Развѣ Оно не любить человѣка!“ думаю самъ въ себѣ: „развѣ Оно не печется о судьбѣ людей? Развѣ міръ нашъ не въ Его рукѣ вмѣстѣ съ милліонами другихъ міровъ?...“ Думаю, взираю на сводъ лазоревый; возношусь духомъ выше, выше—и взоръ мой про-

---

<sup>1)</sup> Дамонъ и Питіасъ—славные друзья въ древности.

ясняется; отираю слезы — и мирюсь съ судьбою, мирюсь съ человѣческимъ родомъ. Иду въ тихій кабинетъ свой, читаю добрыхъ философовъ, утѣшителей; размышляю — и сравниваю жестокія потрясенія въ нравственномъ мірѣ съ Лиссабонскимъ или Мессинскимъ землетрясеніемъ, которое свирѣпствовало, разрушало и наконецъ утихло; на берегахъ Тага снова возвышается великолѣпный городъ — и обитатели Мессины снова наслаждаются мирною жизнію.

Будемъ, мой другъ, будемъ и нынѣ утѣшаться мыслию, что жребій рода человѣческаго не есть вѣчное заблужденіе, и что люди когда нибудь перестанутъ мучить самихъ себя и другъ друга. Сѣмя добра есть въ человѣческомъ сердцѣ, и не исчезнетъ вовѣки; рука Провидѣнія хранить его отъ хлада и бурь. Теперь свирѣпствуютъ Аквилонны: но рано или поздно настанетъ благодѣтельная весна, и сѣмя распустится отъ животворнаго дыханія зефировъ.

Вѣрю, и всегда буду вѣрить, что добродѣтель свойственна человѣку, и что онъ сотворенъ для добродѣтели. Кто не плѣняется описаніемъ златаго вѣка, вѣка невинности? Кто не проливаетъ слезъ умиленія, внимая повѣствованію о дѣлахъ великодушія и геройства? Кто не любитъ воображать себя добрымъ, благодѣтельнымъ существомъ? Мой другъ! я былъ среди такъ называемыхъ просвѣщенныхъ народовъ, былъ среди народовъ дикихъ, и видѣлъ, что вездѣ, во всѣхъ странахъ человѣкъ дѣлаетъ зло съ пасмурнымъ лицомъ, а добро съ пріятною улыбкою!... Сія черта нравственности любезна философу.

Соглашаюсь съ тобою, что мы нѣкогда излишно величали осьмой-надесять вѣкъ, и слишкомъ много ожидали отъ него. Происшествія доказали, какимъ ужаснымъ заблужденіемъ подверженъ еще разумъ нашихъ современниковъ! Но я надѣюсь, что впереди ожидаютъ насъ лучшія времена; что природа человѣческая болѣе усовершенствуется — напримѣръ, въ девятнадцатомъ вѣкѣ — нравственность болѣе исправится — разумъ, оставивъ всѣ химерическія предпріятія, обратится на

устроение мирнаго блага жизни, и зло настоящее послужить къ добру будущему.

Что принадлежит до Мизософовъ, мой другъ, то они никогда, никогда торжествовать не будутъ. Знаю, что распространение нѣкоторыхъ ложныхъ идей надѣлало много зла въ наше время; но развѣ просвѣщеніе тому виною? Развѣ науки не служатъ напротивъ того средствомъ къ открытію истины и къ разсѣянію заблужденій, пагубныхъ для нашего спокойствія? Развѣ не истина, развѣ ложь есть существо наукъ?— Разогнемъ книгу Исторіи: за что не лилась кровь человѣческая? На примѣръ, распри суевѣрія вооружили сына противъ отца, брата противъ брата; но какой безумецъ издумаетъ обвинять тѣмъ самую Религію? Напротивъ того не она ли обезоружила наконецъ сихъ фанатиковъ, озаривъ свѣтомъ своимъ, свѣтомъ любви и кротости, ихъ пагубныя заблужденія? Нѣтъ, мой другъ, нѣтъ! я имѣю довѣренность къ мудрости Властителей, и покоенъ; имѣю довѣренность ко благости Всевышняго, и покоенъ. Нѣтъ! свѣтильникъ наукъ не угаснетъ на земномъ шарѣ. Ахъ! развѣ не онѣ служатъ намъ отрадою въ горестяхъ? Развѣ не въ ихъ мирномъ святилищѣ укрываемся отъ всѣхъ бурь житейскихъ? Нѣтъ, Всемогущій не лишитъ насъ сего драгоцѣннаго утѣшенія добрыхъ, чувствительныхъ, печальныхъ. Просвѣщеніе всегда благотворно; просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели, доказывая намъ тѣсный союзъ частнаго блага съ общимъ, и открывая неизсякаемый источникъ блаженства въ собственной груди нашей; просвѣщеніе есть лекарство для испорченнаго сердца и разума; одно просвѣщеніе живодѣтельною теплою своею можетъ изсушить сію тину нравственности, которая ядовитыми парами своими мертвитъ все изящное, все доброе въ мірѣ; въ одномъ просвѣщеніи найдемъ мы спасительный антидотъ для всѣхъ бѣдствій человѣчества! — Кто скажетъ мнѣ: *науки вредны, ибо осьмнадцать вѣкъ, ими гордившійся, ознаменуется въ книгѣ бытія кровію и слезами*; тому скажу я: „осьмнадцать-

сать вѣкъ не могъ именовать себя просвѣщеннымъ, когда онъ въ книгѣ бытія ознаменуется кровію и слезами“.

Мысли твои о вѣчномъ возвышеніи и паденіи разума человѣческаго кажутся мнѣ—извини искренность дружбы—воздушнымъ замкомъ; я не вижу ихъ основанія. Положимъ, что въ древней Азіи были многочисленные народы; но гдѣ же слѣды ихъ просвѣщенія? Исторія застала людей во младенчествѣ, въ начальной простотѣ, которая не совмѣстна съ великими успѣхами наукъ. Даже въ Египтѣ видимъ мы только первыя дѣйствія ума, первые магазины знаній, въ которыхъ истины были перемѣшаны съ безчисленными заблужденіями. Самые Греки — я люблю ихъ, мой другъ; но они были не что иное, какъ — милыя дѣти! Мы удивляемся ихъ разуму, ихъ чувству, ихъ талантамъ; но такъ, какъ взрослый человѣкъ удивляется иногда разуму, чувству и талантамъ юнаго отрока. Читай вмѣстѣ Платона и Боннета, Аристотеля и Локка — я не говорю о Кантѣ — и потомъ скажи мнѣ, что была Греческая философія въ сравненіи съ нашею?

Для чего и теперь не думать намъ, что вѣки служатъ разуму лѣствицею, по которой возвышается онъ къ своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно?

Ты указываешь мнѣ на варварство среднихъ вѣковъ, наступившее послѣ Греческаго и Римскаго просвѣщенія; но самое сіе, такъ называемое варварство (въ которомъ одна-кожъ, отъ времени до времени, сверкали блестящія, зрѣлыя идеи ума) не послужило ли *въ цѣломъ* къ дальнѣйшему распространенію свѣта наукъ? Солнце, разсѣявъ облака, сіяетъ тѣмъ лучезарнѣе, и тѣмъ благотворнѣе дѣйствуетъ на землю. Дикіе народы сѣвера, которые въ грозномъ своемъ нашествіи гасили, подобно шумному дыханію Борея, свѣтильники разума въ Европѣ, наконецъ сами просвѣтились, и новый олимпіамъ воскурился Музамъ на земномъ шарѣ.

Нѣтъ, нѣтъ! Сизифъ съ камнемъ не можетъ быть образомъ человѣчества, которое безпрестанно идетъ своимъ путемъ,

и безпрестанно измѣняется. Прохладимъ, успокоимъ наше воображеніе, и мы не найдемъ въ Исторіи никакихъ повтореній. Всякой вѣкъ имѣетъ свой особый нравственный характеръ,—погружается въ нѣдра вѣчности, и никогда уже не является на землѣ въ другой разъ.

Мой другъ! мы должны смотрѣть на міръ какъ на великое позорище, гдѣ добро со зломъ, гдѣ истина съ заблужденіемъ ведетъ кровавую брань. Терпѣніе и надежда! Все несправедное, все ложное гибнетъ, рано или поздно гибнетъ; одна истина не страшится времени; одна истина пребываетъ вѣки!

Природа уже не веселитъ тебя?.. тебя, моего добраго, моего любезнаго Мелодора? Нѣтъ! пока чувствительное сердце бьется въ груди твоей, люби Природу; утѣшайся ею; ищи радости въ ея объятіяхъ. Люди, по несчастному заблужденію, могутъ быть злы: Природа никогда! Нѣтъ, Мелодоръ! будемъ всегда нѣжными чадами нѣжной матери; будемъ наслаждаться ея благостію и безчисленными красотоми! Иногда жаркая слеза выкатится изъ глазъ нашихъ; кроткой зефиръ осушитъ ее.

Въ отвѣтъ на горестное заключеніе письма твоего скажу:— „если ужасное пробужденіе описаннаго тобою несчастливца было не что иное — какъ новый сонъ; если онъ вторично откроетъ глаза; если всѣ ужасы вокругъ его исчезнутъ; если Морфей унесетъ ихъ съ собою въ царство ничтожества и тѣней?..“

Мелодоръ! намъ не вѣкъ жить въ семъ мірѣ. Ударитъ часъ и все перемѣнится! Съ сею любовію къ добродѣтели, которая была, есть и будетъ вѣчнымъ характеромъ души твоей, падемъ въ могилу и закроемся тихою землею!..

Тамъ, тамъ, за синимъ океаномъ,  
Вдали, въ мерканіи багрянотъ,

тамъ вѣнецъ безсмертія и радости ожидаетъ земныхъ тружениковъ!

ХІІ.

РАЗГОВОРЪ О ЩАСТІИ<sup>1)</sup>.

1797.

ФИЛАЛЕТЪ и МЕЛОДОРЪ.

ФИЛАЛЕТЪ.

Нѣсколько минутъ смотрю на тебя, и жалѣю, что я не живописецъ: не лѣзя найти лучшей модели для изображенія бога задумчивости.

МЕЛОДОРЪ.

Ахъ! извини меня. Я въ самомъ дѣлѣ забылся, и не видалъ, какъ ты вошелъ.—*(Подаетъ ему руку)*.

ФИЛАЛЕТЪ.

Что, еслии смѣю спросить, занимаетъ твое глубокомысліе? Философскій камень, безпрестанное движеніе, связь души съ тѣломъ, средство сдѣлать безумцевъ умными; не правда ли?

МЕЛОДОРЪ.

Ты почти угадалъ. Я думалъ... о средствѣ быть щастливымъ въ жизни. Это стоитъ Философскаго камня.

ФИЛАЛЕТЪ.

Съ нѣкоторой стороны.

МЕЛОДОРЪ.

Въ самомъ дѣлѣ, любезный другъ, начто мы трудимся, учимся, читаемъ, пишемъ, споримъ—и Богъ знаетъ, чего не дѣлаемъ—когда не умѣемъ найти благополучія въ жизни? Я

---

<sup>1)</sup> Разсужденіе это, въ формѣ діалога, является дальнѣйшимъ развитіемъ идей оптимизма, выраженнаго въ предъидущихъ сочиненіяхъ и усвоеннаго Карамзиннымъ изъ произведеній писателя-моралиста Шарля Бонне, нѣкоторые сочиненія котораго были переведены имъ на русскій языкъ. Главными представителями этого направленія, въ европейской литературѣ, были: англійскій писатель Шефтсбѣри (О добродѣтели), поэтъ Поле (Опытъ о чловѣкѣ) и германскій философъ Лейбницъ (Теодицея). Здѣсь, въ лицѣ Филалета, говорить самъ авторъ.

представляю себѣ здѣшній свѣтъ великолѣпнымъ храмомъ: на портикахъ, на перистилѣ, на колоннахъ, вездѣ сіяетъ надпись: *Щастіе!* Вхожу во внутренность: гремѣть хоры — *Щастію!* Вижу безчисленное множество людей: спѣвать, тѣснятся, простираютъ руку — ко *Щастію*, единственному божеству храма; но божество... невидимо! Молятся съ усердіемъ, зовутъ его: оно не является! Герой манитъ его къ себѣ окровавленнымъ мечемъ, любовникъ миртовою вѣтвю, роскошный блескомъ сокровищъ своихъ: оно не является! Здѣсь проливаютъ слезы, тамъ другихъ заставляютъ плакать—все для *Щастія*; но оно глухо, слѣпо — не слушаетъ моленій, не смотритъ на жертвы—и вѣчно, вѣчно невидимо!

Филалетъ.

Довольно Поэзіи, но мало утѣшенія!

Мелодоръ.

Утѣшенія! гдѣ найти его въ этомъ хаосѣ заблужденій, обмановъ и безчисленныхъ золь всякаго рода? Я смотрѣлъ, мыслилъ, говорилъ съ Философами, съ сердцемъ своимъ — и готовъ спрыгнуть съ земнаго шара.

Филалетъ.

Друзья схватятъ тебя за руку, будутъ просить, кланяться—и нѣжной, снисходительной Мелодоръ останется съ ними.

Мелодоръ.

Развѣ только для нихъ; а мнѣ право уже наскучило быть Дон-Кихотомъ, гоняться за воображаемою Дульцинею, за пустою мечтою, и смѣшать холодныхъ людей моими плачевными вздохами.

Филалетъ.

Участь всѣхъ рыцарей въ наше время!

Мелодоръ.

Кто же не рыцарь щастія? Но оставимъ шутку, и поговоримъ съ важностію о такомъ предметѣ, который всего

миѣ для нашего сердца. Все велитъ мнѣ разстаться съ прелестною надеждою; но я хочу знать твои мысли, и сравниваю себя съ такимъ любовникомъ, который видѣлъ, видѣлъ собственными глазами измѣну любовницы своей, но все еще *хотѣлъ бы сомнѣваться*; ненавидитъ свое увѣреніе, и говоря ей: *не оправдывайся!* слушаетъ... ея оправданіе.

Филалетъ.

Я помню слова одного Философа. „Есть ли щастіе?“ спросилъ у него любопытный человѣкъ. — Люди съ начала міра ищутъ его, и по сіе время не нашли, отвѣчалъ онъ: слѣдственно... „Слѣдственно его нѣтъ?“ сказалъ любопытный. — Однакожь, продолжалъ мудрецъ, естли бы оно было не что иное, какъ пустой фантомъ, то люди давно бы уже перестали искать его; но какъ они все упорствуютъ въ своихъ мысляхъ, и все ищутъ, то надобно... „Чтобъ оно существовало? Два противныя слѣдствія: которое же справедливо?“ спросилъ опять любопытный. — Рѣши самъ! освѣчалъ Философъ; завернулъ въ свою мантию и замолчалъ.

Мелодоръ.

Надѣюсь, что ты будешь снисходительнѣе этого Философа, и скажешь мнѣ, есть ли, по твоему мнѣнію, истинное щастіе въ мірѣ? можетъ ли человѣкъ найти его?

Филалетъ.

Нѣтъ и есть! не можетъ и можетъ!

Мелодоръ.

Прекрасной отвѣтъ! онъ напоминаетъ мнѣ Аполлонову Пиею, которая всегда говорила: *да и нѣтъ! нѣтъ и да!* или Шекспировыхъ вѣдьмъ, увѣрявшихъ Дунканова Генерала, что онъ будетъ меньше и больше, ниже и выше Макбета.

Филалетъ.

Естли мы разумѣемъ подъ щастьемъ такое состояніе души, въ которомъ бы она могла безпрестанно наслаждаться живыми удовольствіями...

Мелодоръ.

Потерявъ всѣ чувства недостатка, сливаясь, такъ сказать, со внѣшними предметами, какъ тоны сливаются между собою въ гармоническомъ строѣ, и находя въ одномъ наслажденіи чувство бытія своего.

Филалетъ.

То, оно невозможно по образованію души нашей. Напрасно человѣкъ думаетъ найти его въ исполненіи всѣхъ желаній: одно рождаетъ другое, и цѣпь безконечна. Но положимъ и то, чтобы всѣ они исполнились; на примѣръ: молодой Эрастъ, общій нашъ знакомецъ, страстно влюбленъ въ Плѣниру; ея сердце, ея рука, сдѣлають его, какъ онъ говоритъ, совершенно блаженнымъ. Пусть рокъ соединитъ ихъ: Эрастъ, по обыкновенію всѣхъ щастливыхъ любовниковъ, скоро увидитъ ошибку свою; увидитъ, что Плѣнира хотя мила, очень мила, однакожь не мѣшаетъ желать еще другихъ пріятностей въ жизни. Вообразимъ, что я Эрастовъ благодѣтельный и всемогущій Геній: чего онъ желаетъ, то въ минуту исполняю.

Мелодоръ.

Ты берешь на себя много работы. Онъ желаетъ, на примѣръ, богатства.

Филалетъ.

И богатство течетъ къ нему рѣкою, льется на него золотымъ дождемъ.

Мелодоръ.

Онъ любитъ обходиться съ просвѣщенными, знающими, остроумными людьми —

Филалетъ.

Предупреждаю его желанію: всѣ Нѣмецкіе Профессоры, всѣ Французскіе *остроумы* скачутъ къ нему на почтовыхъ.

Мелодоръ.

Онъ самъ захочетъ быть первымъ умникомъ въ свѣтѣ.

ФИЛАЛЕТЬ.

Даю ему разумъ Фонтенеля, Вольтера, Руссо.

МЕЛОДОРЪ.

Захочетъ славы Героя—

ФИЛАЛЕТЬ.

Лавровые вѣнки летятъ къ нему на голову.

МЕЛОДОРЪ.

Пожелаетъ —

ФИЛАЛЕТЬ.

Конечно не того, чтобы два и два составили пять: все прочее дѣлаю; онъ дошелъ до послѣдней границы возможности; осыпанъ всѣми дарами Природы и фортуны; всѣ нервы его трепещутъ въ живѣйшемъ восторгѣ... Но что же? Восторгу его, по свойству, образованію души человѣческой, минута отъ минуты должно *ослабѣвать*; каждая секунда уноситъ съ собою нѣкоторую часть его *способности наслаждаться*; каждое мгновеніе умираетъ, такъ сказать, его счастье. Нѣтъ предметовъ для желаній, нѣтъ предметовъ для надежды! Эрастъ все имѣетъ, кромѣ... блаженства.

МЕЛОДОРЪ.

Но онъ можетъ еще желать, чтобы душа его, наслаждаясь, не тупѣла въ своихъ чувствахъ.

ФИЛАЛЕТЬ.

Въ такомъ случаѣ онъ пожелалъ бы, чтобы два и два составляли пять: по крайней мѣрѣ физической невозможности. Первое впечатлѣніе предмета въ нашихъ чувствахъ бываетъ всегда самое живѣйшее; всякое повтореніе дѣйствуетъ слабѣе—потому человѣкъ въ 30 лѣтъ, при всемъ совершенствѣ органовъ своихъ, радуется уже менѣе тѣми предметами, которыми восхищался онъ въ 25 лѣтъ.

МЕЛОДОРЪ.

Слѣдствіе...

ФИЛАЛЕТЪ.

Слѣдствіе то, что Богу не угодно было даровать человѣку совершеннаго блаженства въ здѣшней жизни: *оно не возможно по образованію души нашей*. Но...

МЕЛОДОРЪ.

Посмотримъ, что скажешь намъ въ утѣшеніе!

ФИЛАЛЕТЪ.

Но естьли щастье состоятъ въ томъ, чтобы находить въ жизни многія истинныя пріятности, не скучать ею, не роптать на судьбу, быть довольнымъ: то оно возможно и дано человѣку.

МЕЛОДОРЪ.

Какъ же я буду доволенъ, когда...

ФИЛАЛЕТЪ.

Будешь, повинуюсь сердцу и разсудку. Первое велить искать удовольствій, а послѣдній однихъ невинныхъ удовольствій, согласныхъ съ законами Природы и мудрости. Сердце есть младенецъ, который бросается на все сладкое; но въ сладкомъ бываетъ иногда ядовитое. Разсудокъ долженъ говорить ему; *это вредно — оставь! это не вредно — наслаждайся!*

МЕЛОДОРЪ.

Но естьли послѣдняго такъ мало, что бѣдное сердце безпрестанно должно себѣ отказывать; естьли почти всѣ удовольствія стоятъ намъ слишкомъ дорого; естьли на каждую пріятность можно считать по сту непріятностей; естьли всѣ страсти пагубны, какъ утверждали Стоики; естьли вѣчное сраженіе съ чувствами будетъ для насъ закономъ мудрости: въ такомъ случаѣ, какъ бѣдно твое возможное щастье! и нечто родиться человѣку?

ФИЛАЛЕТЪ.

Нѣтъ, я не люблю Стоиковъ, которые чернымъ сукномъ одѣваютъ всю Природу, и заранѣе кладутъ сердце въ холод-

ную могилу. Нѣтъ, нѣтъ! Природа любитъ одѣваться зеленью и цвѣтами: она дала намъ чувства для того, чтобы улаживать ихъ; дала намъ разсудокъ для того, чтобы выбирать лучшія наслажденія; дала страсти для того, что онѣ нужны, необходимы для дѣятельности въ физическомъ и нравственномъ мірѣ.

Мелодоръ.

Ты хочешь быть Панегиристомъ страстей: но я укажу тебѣ на мысъ Левкадской, на пепель городовъ, на высокіе бугры, составленные изъ костей человѣческихъ; на Африканскіе берега, гдѣ люди продаютъ людей въ рабство—и скажу: *вотъ дѣйствіе страстей!*

Филалетъ.

Дѣйствіе ихъ заблужденія. Страсти въ своихъ границахъ благотѣльны, внѣ границъ пагубны.

Мелодоръ.

Кому же назначать предѣлы?

Филалетъ.

Я сказалъ: разсудку. Страсть для сердца есть не что иное, какъ живое чувство удовольствія; но разсудокъ находитъ, что удовольствіе есть только *приманка*; что Натура скрываетъ подъ нимъ нѣчто важнѣйшее: пользу. Тутъ ставитъ онъ пограничный столпъ, и говоритъ сердцу: *не dalje*. Когда чувствительный пастухъ видитъ и любитъ милую пастушку; вздыхаетъ, краснѣется передъ нею; ласкаетъ ея овечекъ; усыпаетъ цвѣтами тропинку, по которой она часто ходитъ; играетъ на свирѣли нѣжную пѣсню, между тѣмъ какъ пастушка сидитъ на бережку ручейка, и задумчиво смотрится въ зеркало воды кристальной: тогда я вижу намѣреніе Природы — она говоритъ въ его сердцѣ; она хочетъ, чтобы пастухи любились, и чтобы нѣжные плоды взаимной склонности играли на колѣняхъ пастушекъ. Для того рука ея украсила розами любовь Аркадскую. Но можетъ ли Природа хотѣть, чтобы Сафы падали на землю отъ звуковъ Фаонова го-

лоса, трепетали всегда, какъ вдохновенные Квакеры, и наконецъ... утопали въ пучинѣ Левкадской? Тутъ нѣтъ никакой цѣли: одно разрушеніе, противное намѣренію любви, которой поручено, такъ сказать, храненіе человѣческаго рода. Лезбійская Героиня служитъ неестественнымъ примѣромъ заблужденія въ естественной и самой щастливой склонности.

Мелодоръ.

Но развѣ пастушокъ твой не можетъ быть несчастливъ въ любовной своей Идилліи? На примѣръ, онъ вздыхаетъ, краснѣется, а его не примѣчаютъ; гладить любимыхъ пастушкихъ овецекъ, а его не благодарятъ взоромъ; усыпаетъ тропинки цвѣтами, играетъ на свирѣли, а его... не любятъ! Что, еслии нашъ Дафнисъ, потерявъ надежду, вздумаетъ грустить, тосковать, не глядѣтъ на свѣтъ Божій? Жестокой человѣкъ! можешь ли ты не пожалѣть объ немъ? Можешь ли не осудить Природы, которая говорила въ его сердцѣ для того, чтобы сказать ему: *будь несчастливъ?*

Филалетъ.

Нѣтъ, я не позволяю тосковать пастушку моему. Пусть онъ вздохнетъ два, три раза—не больше—и подойдетъ искать другой, благосклоннѣйшей красавицы.

Мелодоръ.

Прекрасно, но возможно ли, когда страсть завладѣла всѣмъ сердцемъ, всею душею?

Филалетъ.

Натура того не хочетъ, и предостерегаетъ насъ отъ излишностей чувствомъ страданія. Разсудокъ велитъ *умѣрять* любовь, когда она *мучитъ* сердце и можетъ погубить его.

Мелодоръ.

Голосъ разсудка въ такомъ случаѣ не подобенъ ли крику ворона, который предвѣщаетъ намъ бурю, но не можетъ отвратить ее?

Филалетъ.

Всегда можетъ, пока говорить; человѣку остается покорить ему волю свою, принять его совѣты. Напримѣръ: мнѣ очень нравится женщина; я чувствую, что могу полюбить ее страстно. Что совѣтуетъ благоразуміе? Увѣриться въ ея взаимной любви, или... удалиться отъ опасной Цирцеи. Благодѣтельная Природа образовала наше сердце такъ, что мы не можемъ сильно любить безъ надежды и взаимности. Надежда часто обманываетъ: но отъ чего же? Отъ безумнаго, вѣтреннаго самолюбія, которое толкуетъ въ свою пользу всякой вздоръ, всякое слово, и слышитъ *да!* гдѣ говорятъ *нѣтъ!* или ничего не говорятъ. Заблужденіе открывается: что дѣлать? Проклинать судьбу, боговъ и чувствительность!

Мелодоръ.

А непостоянство, измѣна —

Филалетъ.

Бываетъ только въ слабыхъ, или, лучше сказать, въ мнимыхъ привязанностяхъ; но два сердца, образованныя для истинной, взаимной любви, никогда не могутъ разстаться въ жизни; всякой день утверждаетъ связь ихъ, наслажденіемъ, воспоминаніемъ, чувствомъ благодарности, разсужденіемъ, и наконецъ золотою цѣпью привычки. Непостоянный есть такой человѣкъ, который никогда не любилъ и никогда (что все одно) не былъ любимъ.

Мелодоръ.

Однакожь Н., мой пріятель, оставленный своею красавицею, былъ въ отчаяніи и хотѣлъ застрѣлиться.

Филалетъ.

Не сердце, а гордость его была въ отчаяніи, которое и продолжалось, кажется, не болѣе семи дней. Онъ терзался мыслию, что красавица предпочла ему друга. Ахъ! я увѣренъ, что и нѣжная, пламенная Сафо не бросилась бы съ Левкадскаго мыса безъ помощи раздраженнаго самолюбія, а

можетъ быть и суетнаго желанія, еще болѣе прославить себя въ Исторіи такимъ геройскимъ дѣломъ. — Однимъ словомъ, съ осторожностію, съ благоразуміемъ, любовь дѣлаетъ насъ только щастливыми. — То же можно сказать о другихъ природныхъ страстяхъ; онѣ нужны и пріятны въ чистотѣ своей, подъ руководствомъ ума. Напримѣръ—

Мелодоръ.

Имѣй сердце похвалить корыстолюбіе!

Филалетъ.

Да, и корыстолюбіе хорошо въ своемъ источникѣ, когда оно есть не что иное, какъ предвидѣніе муравьевъ, готовящихъ запасъ на зимнее время. Природа хотѣла, чтобы мы не терпѣли недостатка въ нужномъ и для того собирали: вотъ что естественно въ корыстолюбіи и согласно съ умомъ!

Мелодоръ.

Но естли оно заставитъ меня присвоивать себѣ чужое, мучить людей для умноженія моихъ сокровищъ?..

Филалетъ.

Тогда Природа и разсудокъ отступятся отъ Мелодора. Первая говоритъ: *собирай*; а второй договариваетъ: „хорошими средствами, для собственной твоей пользы. Какъ поступаешь въ отношеніи къ другимъ, такъ другіе имѣютъ право поступать въ отношеніи къ тебѣ. Возьмешь чужое, возмуютъ твое — и вмѣсто того, чтобы обезопасить жизнь свою, будешь всегда въ опасности“.

Мелодоръ.

Я угадываю, что ты скажешь о честолобіи.

Филалетъ.

То, что оно есть самая благороднѣйшая, нравственная страсть, собственно человѣку данная; другія животныя, по грубому образованію души ихъ, не знаютъ ея прекрасныхъ движеній. Не говори мнѣ о Геростратахъ, Александрахъ,

Аттилахъ; они служатъ только примѣромъ развращеннаго честолюбія; но истинное, природное, есть желаніе нравиться подобнымъ себѣ нравственнымъ существамъ, заслужить ихъ доброе мнѣніе, почтеніе, любовь. Эта страсть болѣе всего привязываетъ насъ къ общежитію, единственному театру ея; она источникъ многихъ добрыхъ дѣлъ — и Натура, вселивъ ее въ наше сердце, утверждаетъ связи гражданской жизни, возвышаетъ человѣчество, заставляетъ насъ быть благотѣтельными, — такъ какъ нѣтъ инова надежнѣйшаго средства заслужить добрую славу.

Мелодоръ.

Вотъ хорошая сторона страстей! Соглашаюсь. Но для чего же, любезный другъ, для чего Природа оставила намъ возможность развращать ихъ движенія? Для чего позволяетъ человѣку засорять ихъ свѣтлый источникъ, и вмѣсто добра, вмѣсто пріятностей, изливать на міръ столько зла и горя?

Филалетъ.

Спроси, для чего она дала намъ свободу; для чего произвела насъ не машинами? Но спроси же у своего сердца, какъ оно бываетъ довольно въ ту минуту, когда принесть жертву разсудку на счетъ своихъ слабостей! Кто имѣетъ столько твердости и силы, чтобы повиноваться закону мудрости, закону ума, тотъ благодаритъ Природу за данную намъ волю слѣдовать ему или не слѣдовать. Натура употребила съ своей стороны всѣ средства удержать наши страсти въ естественномъ или (что все одно) въ благомъ ихъ теченіи, соединивъ съ истиннымъ путемъ живое удовольствіе, а съ заблужденіемъ горе и страданіе. Кто забываетъ цѣль врожденныхъ склонностей, которая въ житейскомъ мореплаваніи должна всегда, какъ Фарось, сіять передъ нами; кто выходитъ изъ черты, обводимой разсудкомъ вокругъ природнаго дѣйствія страстей; кто искусственно растравляетъ въ себѣ ихъ чувство, безумно предается ихъ бурному стремленію, и хочетъ, такъ сказать, цѣлой міръ потопить въ своихъ жи-

выхъ удовольствіяхъ: тотъ, гоняясь за призракомъ блаженства, бываетъ гонимъ существенною тоскою, пьетъ соленую воду для утоленія жажды, и за минутные восторги платитъ долговременною мукою—восторги, которые дѣлаются рѣже и рѣже, болѣе и болѣе изнуряютъ душу, и усиливая въ ней *алчность къ наслажденіямъ*, ослабляютъ ея *способность наслаждаться*. Несчастный Танталь есть образъ человѣка, который служить такъ называемымъ *сильнымъ страстямъ*, искусственнымъ фантомамъ нашего воображенія; который, на примѣръ, какъ Сафо, хочетъ любить съ изступленіемъ, не для природной цѣли любви, не для того, чтобы найти вѣрную, кроткую спутницу въ жизни, но для безпрестанныхъ восторговъ; который, притупивъ чувства свои однимъ предметомъ, спѣшитъ оживить ихъ другимъ; или который, имѣя ненасытное честолюбіе Александра, летитъ за лаврами на край свѣта, черезъ кровавыя рѣки, черезъ трупы людей, вмѣсто того, чтобы заслужить истинную, надежную славу благодѣланіями, благодѣтельною жизнію, тамъ, гдѣ Судьба произвела его на свѣтъ; или который собираетъ не для того, чтобы жить, но живетъ для того, чтобы собирать; отказывается отъ настоящихъ удовольствій для будущихъ, отъ вѣрныхъ для невѣрныхъ, и долженствуя пріобрѣтеніемъ обезпечить жизнь свою, наполняетъ ее заботами для пріобрѣтеній. — Нѣтъ, нѣтъ! Природа не виновата, если мы несчастливы и врожденныя склонности, источникъ вѣрныхъ благъ, превращаемъ въ источникъ золь, вопреки ея доброму намѣренію. „Человѣкъ долженъ быть творцомъ своего благополучія, при-  
„вода страсти въ щастливое равновѣсіе, и образуя вкусъ для  
„истинныхъ наслажденій“.

Мелодоръ.

Но если я не нахожу для себя *хорошей пищи*, то съ самымъ *прекраснымъ вкусомъ* могу ли наслаждаться? Признайся, что крестьянинъ, живущій въ своей темной, смрадной, избѣ, или Камчадалъ, который вокругъ себя не видитъ

ничего, кромѣ снѣжныхъ равнинъ и холмовъ, и въ низкой хижинѣ своей задыхается отъ дыму, не можетъ найти много удовольствій въ жизни.

#### ФЛАЛЕТЪ.

Однакожъ находятъ ихъ. Крестьянинъ любитъ свою жену, своихъ дѣтей; радуется, когда идетъ дождь во-время; радуется благополучному ведру, полнотѣ житницъ своихъ и щедрой наградѣ за труды его. У Камчадала также есть сердце, которому извѣстны пріятныя движенія чувствительности; онъ любитъ своихъ домашнихъ, любитъ звѣриную ловлю, и съ удовольствіемъ катится домой на обледепѣлыхъ лыжахъ своихъ, воображая тепло, отдыхъ, поцѣлуй жены и... рыбій жиръ на столѣ. — Истинныя удовольствія равняютъ людей. Великій Моголь и послѣдній рабъ его утоляютъ голодъ и жажду съ одинаковою пріятностію. Богачъ изъ огромныхъ палатъ своихъ, гдѣ великолѣпіе и скука утомили душу его, сходитъ по мраморной лѣстницѣ отдохнуть на зеленомъ лугу, на чистомъ воздухѣ, и взглянуть на алую вечернюю зарю; онъ садится на травѣ... подлѣ бѣднаго земледѣльца, который также покоится, такъ легко дышетъ, и тѣми же предметамъ наслаждается: они оба теперь равны. — Аристъ, молодой вельможа, говоритъ: „первая блаженная минута въ жизни моей!“ Что привело его въ такое восхищеніе? Онъ стоитъ на колѣняхъ передъ обожаемою имъ женщиною, и въ первый разъ услышалъ отъ нее магическое слово: *люблю!* Въ самую ту минуту какойнибудь сельской красавецъ щастливъ нѣжнымъ признаніемъ какойнибудь сельской красавицы, признаніемъ ея взаимной къ нему склонности. Чувства знатнаго любовника и молодого крестьянина теперь одинаковы. — Ты знаешь Клеона, который истощаетъ всѣ хитрости роскоши для того, чтобы менѣе скучать въ жизни; который спитъ на розахъ и просыпается отъ звуковъ Гайденовой музыки: часто завернувшись въ плащъ, украдкою выходитъ онъ изъ великолѣпнаго своего дому и бѣгаетъ по улицамъ въ то время;

когда шумить осенняя буря, когда дождь льется изъ облаковъ рѣками—для чего? чтобы уставъ и промокнуть насквозь, возвратиться домой, сѣсть передъ каминомъ и сказать: „какъ пріятенъ огонь въ ненастное время!“ Въ самой тотъ же часъ бѣдный дровосѣкъ сушится передъ огнемъ въ хижинѣ своей и чувствуетъ его пріятность не менѣе Клеона.—Вся разница состоитъ въ нѣкоторыхъ оттѣнкахъ; но Провидѣніе и Натура въ общемъ раздѣляя истинныхъ удовольствій никого не обдѣляютъ. Знать ихъ цѣну—есть искусство и вѣнецъ науки жить! Не все то легко, что кажется просто, и часто всего менѣе умѣемъ мы употреблять тѣ вещи, которыя у насъ изъ рукъ не выходятъ. Такъ любопытной, безпокойной человѣкъ оставляетъ тихой, родительской кровъ, свое отечество — странствуетъ по чужимъ землямъ, переплываетъ бурные Океаны, чтобы наконецъ очутиться опять на милой своей родинѣ, и сказать: щастливъ, щастливъ тотъ, кто умираетъ, гдѣ родится,

*Sans changer de toit, ni d'amour!*

Натура и сердце — вотъ гдѣ надобно искать истинныхъ пріятностей, истиннаго возможнаго благополучія, которое должно быть общимъ добромъ человѣчества, не собственно-стію нѣкоторыхъ избранныхъ людей: иначе мы имѣли бы право обвинять Небо пристрастіемъ. Не всѣмъ можно завоевать Индію; не всѣмъ можно властвовать надъ людьми; не всякой можетъ блистать въ свѣтѣ и кружить головы моднымъ красавицамъ; не для всякаго работаютъ въ золотыхъ минахъ и плывутъ корабли изъ Бразиліи; слѣдственно не въ лаврахъ Александра, не въ миртахъ Альцибиада, не въ сокровищахъ Крезовыхъ заключило Небо возможное счастье для смертныхъ. Но для всякаго Природа величественна и прекрасна въ своемъ разнообразіи, въ своихъ ежегодныхъ и ежедневныхъ измѣненіяхъ; вездѣ съ материнскою нѣжностію питаетъ она птенцовъ и человѣка; всякой можетъ имѣть свѣтлую хижину, доброе имя, покойную совѣсть; всякой мо-

жетъ любить, любить своихъ родныхъ, семейство, друзей — вотъ истинное благополучіе, которое соединяетъ всѣхъ людей; которое Царю и земледѣльцу даетъ чувствовать, что они братья, дѣти одного Отца, рожденные съ одинакими сердцами, съ одинакими способностями для наслажденія!

Мелодоръ.

Философія твоя довольно утѣшительна; только ей не многіе повѣрятъ.

Филалетъ.

Думаю; но истина останется въ своей цѣнѣ—истина, что всѣ особенныя, случайныя, искусственныя удовольствія не стоятъ общихъ природныхъ; и что можно быть счастливымъ и несчастнымъ во всѣхъ состояніяхъ, тѣмъ и другимъ отъ себя, отъ умѣнья или неумѣнья пользоваться жизнію, отъ хорошаго или дурнаго расположенія сердца. Натура позволяетъ Искусству, какъ своему Министру, раздавать нѣкоторыя легкія пріятности людямъ; но существенныя, и самыя живѣйшія, раздаетъ она сама—Царица.

Мелодоръ.

Положимъ, что во всякомъ состояніи человѣкъ можетъ найти розы удовольствія; но гдѣ же такое, въ которомъ бы онъ могъ укрыться отъ тернія горестей, отъ бѣдствій, неразлучныхъ съ жизнію?

Филалетъ.

Существенныхъ бѣдствій въ самомъ дѣлѣ очень немного: тѣлесное страданіе, потеря физической вольности, и болѣе ничего вообразить не умѣю. Трезвость, умѣренность можетъ насъ предохранить отъ болѣзней, а честная, нравственная, благоразумная жизнь отъ темницы. Ты скажешь, что самые трезвые люди бываютъ подвержены болѣзнямъ, самые добродѣтельные заключаются иногда въ цѣпи: согласишься, что это чрезвычайность — въ такомъ случаѣ остается намъ терпѣть, надѣяться и взирать на небо, гдѣ живетъ нашъ общій, нѣж-

ный Отецъ: Онъ видитъ страданія дѣтей Своихъ, и не позволяетъ ему превзойти мѣру терпѣнія. Къ тому же... ты удивишься: но я скажу по чувству души моей... скажу, что въ самомъ несчастіи можно найти нѣкоторое услажденіе. Силою души своей превозмогать болѣзнь тѣлесную; покойною ясностію сердца освѣщать мракъ темницы, есть нѣчто святое, божественное, кротко-восхитительное... Минихъ, во глубинѣ Сибири, въ хижинѣ, занесенной снѣгомъ, благодарилъ Небо за твердость души своей, и проливалъ слезы умиленія, которыхъ сладость была ему неизвѣстна среди придворнаго блеска и пышности. — О какихъ другихъ несчастіяхъ будешь говорить мнѣ? О бѣдности? Но у меня есть руки и сердце; я найду себѣ пропитаніе, найду удовольствія, неизвѣстныя многимъ богачамъ въ ихъ изобиліи. Сколько людей съ потерей имѣнія выучились наслаждаться жизнью, собою, своими душевными и тѣлесными силами, гораздо болѣе, нежели прежде? Я не давно читалъ въ Нѣмецкомъ Журналѣ объ одномъ Французскомъ Эмигрантѣ, который былъ нѣкогда знатенъ и богатъ въ своемъ отечествѣ, а теперь... шьетъ башмаки въ Веймарѣ. Жалѣть ли объ немъ? Нѣтъ, онъ совершенно доволенъ своимъ состояніемъ, работаетъ прилежно, весело; поетъ *водевилли* и философствуетъ какъ Сократъ о пріятностяхъ трудолюбія.—Мы, мы сами составляемъ тысячу отравъ для жизни своей; смотримъ въ микроскопъ на всякую непріятность, и кричимъ, что свѣтъ наполненъ бѣдствіями. Я видѣлъ Н. погруженнаго въ самую глубокую печаль отъ того, что одинъ вельможа взглянулъ на него косо—М. двѣ ночи не спалъ, два дни не говорилъ веселаго слова отъ того, что одна гордая свѣтская женщина назвала его скучнымъ—Стихотворецъ Ф. едва не бросился въ воду отъ того, что одинъ строгой Журналистъ нашелъ въ его стихахъ болѣе дурнаго, нежели хорошаго. Такіе люди имѣютъ ли право винить Натуру и Судьбу человѣческую! Ихъ мученіе не естьли плодъ ихъ безразсудности? Можно ли назвать его бѣдствіемъ, неразлучнымъ съ жизнью?

Мелодоръ.

Но лишиться того, что дѣлало меня истинно-счастливымъ, не есть ли бѣдствіе? На примѣръ, ты самъ говоришь, что для благополучія жизни надобно любить: когда же любовь моя осиротѣетъ...

Филалетъ.

Горестъ тогда необходима; но она есть для души то же, что болѣзнь для тѣла: душа всячески стремится вытти изъ такого чрезвычайнаго положенія, и наконецъ выходитъ. Не только безконечная, но и продолжительная горестъ не естественна, вопреки всѣмъ поэтическимъ элегіямъ. Природа милостивѣе Стихотворцевъ: у нихъ всегда на языкѣ вѣчность; но въ ея лексиконѣ нѣтъ этого слова. Видя оскорбленную нѣжность, она тотчасъ посылаетъ къ ней лекаря (время), который извлекаетъ изъ сердца ядъ болѣзни—сперва быстрыми Ручьями слезъ, а послѣ тихими вздохами.—Горестъ, глубокая, истинная горестъ есть чрезвычайный феноменъ: рѣдко дѣлаетъ она людей несчастными. Но обыкновенный бичъ сердца есть *дурной нравъ* и скука.

Мелодоръ.

Что разумѣешь ты подъ дурнымъ нравомъ?

Филалетъ.

Какое-то мрачное расположеніе души, которое мѣшаетъ намъ пользоваться жизнію, и которое происходитъ отъ безпокойнаго желанія имѣть, чего не имѣемъ—отъ презрѣнія къ тому, что у насъ есть. Истинный Философъ или (что все одно) истинно-благоразумный человѣкъ смотритъ на міръ съ того мѣста, на которое онъ поставленъ судьбою; ищетъ удовольствій на своемъ горизонтѣ, вокругъ себя; пользуется тѣмъ, что у него подъ рукою; знаетъ, что всякое состояніе въ гражданскомъ обществѣ имѣетъ свои пріятности и непріятности, и для того покойно остается въ своемъ, не завидуя никому; знаетъ, что Тиберій въ Капреѣ, обладая сокрови-

щами цѣлаго свѣта, былъ несчастливѣе Камчадала;<sup>1)</sup> знаетъ, что будущее не вѣрно, и для того располагаетъ только настоящимъ. Пусть всякой имѣетъ такіа чувства, и дурной нравъ перестанетъ темнить предметы вокругъ насъ!

Мелодоръ.

А какое лекарство предпишешь отъ скуки?

Филалетъ.

Она всего болѣе мучить тѣхъ людей, которые по связямъ гражданскаго общества выходятъ изъ-подъ закона естественнаго. Натура даетъ намъ силы для того, чтобы ими дѣйствовать; готовить такъ сказать для жизни человѣческой только первые матеріалы, чтобы мы сами ихъ обрабатывали. *Трудись, живи и наслаждайся*, есть ея предписаніе. Земледѣлецъ, ремесленникъ повинуется ему, работаетъ и не знаетъ скуки; *трудъ, отдыхъ, забава*, какъ три главныхъ эпохи жизни его непосредственно соединяются между собою, и не оставляютъ въ ней никакой пустоты. Но люди, рожденные въ изобиліи, въ излишествѣ всего нужнаго для физическаго бытія; люди праздные живутъ противъ своего назначенія, противъ естественной цѣли, и за усыпленіе силъ своихъ, данныхъ имъ для дѣйствія, наказываются скукою, всегдашнимъ безпокойнымъ чувствомъ, которое тревожитъ, томить, изнуряетъ ихъ, и которое можно назвать душевною чахоткою. Чтобы избавиться отъ такой мучительной болѣзни, они должны возвратиться къ Природѣ, и произвольно отдаться подъ ея законъ, который велитъ *жить и работать*; надобно, чтобы *трудъ, отдыхъ, забава*, были также тремя главными эпохами жизни ихъ. Всякой занимайся чѣмъ нибудь; избери для себя должность въ обществѣ, съ которою сопряжена дѣятельность; или трудися по волѣ, сообразно съ своимъ вкусомъ,

<sup>1)</sup> Тацитъ сохранилъ слѣдующее письмо его къ Римскимъ Сенаторамъ: „О чемъ писать къ вамъ, отцы именитые? и какъ? самъ не знаю; и лучше „хотѣлъ бы страдать, нежели чувствовать такое расслабленіе, такое... но я ничего не чувствую“.

склонностями, дарованіями, но имѣя въ виду какую нибудь пользу, такъ какъ Натура не дѣлаетъ ничего безъ цѣли. Работа есть соль удовольствій, и безъ будней нѣтъ праздника. Употребивъ на трудъ пять, шесть часовъ въ день, мы живо чувствуемъ пріятность бездѣйствія, отдыха, дружеской бесѣды, веселаго разговора, забавы, чтенія, музыки, прогулки. Кто всякой день пользуется своими физическими и душевными силами, всякой день дышетъ чистымъ воздухомъ подъ небнымъ кровомъ, любитъ красоты Натуры, Изящныя Искусства, книги: тотъ конечно никогда не будетъ боленъ скукою. *Дѣятельность, отдыхъ, забава:* вотъ мой девизъ!

Мелодоръ.

Ты говоришь, что во всякомъ состояніи можно быть счастливымъ—положимъ — но въ какомъ легче? Какой избралъ бы ты для себя по собственной волѣ, если бы Судьба изъ урны своей высыпала передъ тобою всѣ жребіи?

Филалетъ.

Самое ближайшее къ природѣ: состояніе независимаго земледѣльца, который умѣреннымъ трудомъ могъ бы доставлять себѣ не только нужное для пропитанія, но и нѣкоторыя удобства въ жизни; могъ бы имѣть свѣтлую хижинку, маленький садикъ, умъ для вниманія къ премудрымъ дѣйствіямъ Натуры и чувствительное сердце для любви къ милой подругѣ. Но какъ, по теперешнему учрежденію гражданскихъ обществъ, едва ли не напрасно будемъ искать такихъ земледѣльцевъ: то самое лучшее есть для меня среднее состояніе, между изобиліемъ и недостаткомъ, между знатностію и униженіемъ — твое, мое. Смотря на великолѣпныя палаты, думаю: „здѣсь чувство слишкомъ извѣжено для сильнаго наслажденія!“ Глядя на крестьянскую хижину, говорю себѣ: „здѣсь чувство слишкомъ грубо для нѣжныхъ наслажденій!“ Но красивой, чистенькой домикъ всегда представляетъ моему воображенію картину возможнаго щастія, особливо, когда вижу на окнѣ цвѣты, а подъ окномъ... миловидную женщину, за рукодѣ-

ліемъ, за книгою, за арфою. Тамъ, кажется мнѣ, живетъ любовь и дружба, спокойствіе и душевная веселость; тамъ умѣютъ наслаждаться Природою, Искусствомъ и всѣми истинными земными благами.

Мелодоръ.

Еще одно возраженіе; можетъ ли доброе сердце спокойно наслаждаться чѣмъ нибудь тогда, какъ вокругъ его свирѣпствуютъ развращенныя страсти, порокъ и злоба? Ты оправдываешь Натуру, доказывая, что всѣ склонности, съ которыми она производитъ насъ, въ основаніи своемъ хороши и щастливы; но къ чему же люди обращаютъ ихъ?... Могу ли я, на примѣръ, восхищаться великолѣпною картиною утра и восходящаго солнца, думая, что оно, пробуждаетъ милліоны изверговъ, которые въ теченіе дня будутъ только выискивать новыя средства, мучить, терзать слабыхъ, неосторожныхъ, чувствительныхъ?... Я хотѣлъ бы любить подобныхъ мнѣ; стремлюся къ нимъ душею... но встрѣчаю злодѣевъ и долженъ ихъ ненавидѣть! Одна эта мысль не есть ли горькая отрава для всѣхъ удовольствій добраго сердца?

Филалетъ.

Любезный другъ! чернить нравственный міръ, изливать на людей желчь ненависти, многіе почитаютъ Философіею; но сохрани насъ Богъ отъ язвы, голода и такой Философіи! Люди дѣлаютъ много зла—безъ сомнѣнія—но злодѣевъ мало; заблужденіе сердца, безразсудность, недостатокъ въ просвѣщеніи, виною дурныхъ дѣлъ. Предложи человѣку быть щастливымъ и добрымъ, или быть щастливымъ и злымъ: кто не избѣретъ перваго? Слѣдственно добро само по себѣ любезно всѣмъ сердцамъ. Люди дѣлаютъ зло, надѣясь имѣть черезъ то нѣкоторыя выгоды въ жизни; но премудрый Творецъ соединилъ съ нимъ внутреннее неудовольствіе, стыдъ, страхъ, которыя вмѣшиваютъ ядовитую горечь во всѣ удовольствія. Злой боится, чтобы его не узнали; долженъ безпрестанно скрывать себя; основавъ свою пользу на вредъ другихъ, онъ

сдѣлался ихъ непріятелемъ: и такъ, окруженный врагами, можетъ ли быть спокоенъ? Не будучи спокойнымъ, можетъ ли быть счастливымъ?—Слѣдственно мы дѣлаемъ зло только *ошибкою*, надѣясь найти въ немъ то, что съ нимъ не совмѣстно: слѣдственно дурной человѣкъ есть несчастный, наказываемый судьбою и сердцемъ своимъ—будемъ жалѣть объ немъ безъ ненависти! Совершенной злодѣй или человѣкъ, который любить зло для того, что оно зло, и ненавидитъ добро для того, что оно добро, есть едва ли не дурная пѣтичская выдумка, по крайней мѣрѣ чудовище внѣ Природы, существо неизъяснимое по естественнымъ законамъ.

Вотъ мое заключеніе, вся моя система въ короткихъ словахъ: „Возможное земное щастіе состоитъ въ дѣйствіи врожденныхъ склонностей, покорныхъ разсудку — въ нѣжномъ вкусѣ, обращенномъ на Природу—въ хорошемъ употребленіи физическихъ и душевныхъ силъ. Безпрестанное наслажденіе такъ же невозможно, какъ безпрестанное движеніе: машину надобно заводить для хода, а работа заводитъ душу для чувства новыхъ удовольствій. Быть счастливымъ, есть быть вѣрнымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ законовъ; а какъ они основаны на общемъ добрѣ и противны злу, то *быть счастливымъ есть... быть добрымъ*“.

### ХІІІ.

#### О ЩАСТЛИВѢЙШЕМЪ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ.

1803.

Человѣколюбіе, безъ сомнѣнія, заставило Цицерона хвалить старость; однакожь не думаю, чтобы трактатъ его въ самомъ дѣлѣ утѣшилъ старцевъ: остроумію легко плѣнить разумъ, но трудно побѣдить въ душѣ естественное чувство.

Можно ли хвалить болѣзнь? а старость сестра ея. Перестанемъ обманывать себя и другихъ; перестанемъ доказывать, что всѣ дѣйствія Натуры и всѣ феномены ея для насъ благотворны — въ общемъ планѣ, можетъ быть; но какъ онъ

извѣстенъ одному Богу, то человѣку и нельзя разсуждать о вещахъ въ семь отношеніи. Оптимизмъ есть не Философія, а игра ума: Философія занимается только ясными истинами, хотя и печальными; отвергаетъ ложь, хотя и пріятную. Творецъ не хотѣлъ для человѣка снять завѣсы съ дѣлъ Своихъ, и догадки наши никогда не будутъ имѣть силы удостовѣренія.—Вопреки Жанъ-Жаку Руссо, младенчество, сіе всегдашнее бореніе слабой жизни съ алчною смертію, должно казаться намъ жалкимъ; вопреки Цицерону, старость печальна; вопреки Лейбницу и Попу, здѣшній міръ остается училищемъ терпѣнія. Не даромъ всѣ народы имѣли древнее преданіе, что земное состояніе человѣка есть его паденіе или наказаніе: сіе преданіе основано на чувствѣ сердца. Болѣзнь ожидаетъ насъ здѣсь при входѣ и выходѣ; а въ срединѣ, подъ розами здоровья, кроется змѣя сердечныхъ горестей. Живѣйшее чувство удовольствія имѣетъ въ себѣ какой-то недостатокъ возможное на землѣ щастіе, столь рѣдкое, омрачается мыслию, что или мы оставимъ его, или оно оставитъ насъ.

Однимъ словомъ, вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки! Однакожъ слова: *благо* и *щастіе*, справедливо занимаютъ мѣсто свое въ лексиконѣ здѣшняго свѣта. Сравненіе опредѣляетъ цѣну всего: одно лучше другаго—вотъ благо! одному лучше, нежели другому—вотъ щастіе!

Какую же эпоху жизни можно назвать *щастливѣйшею по сравненію*? Не ту, въ которую мы достигаемъ до физическаго совершенства въ бытіи (ибо человѣкъ не есть *только* животное), но—*последнюю степень физической зрѣлости*— время, когда всѣ душевныя способности дѣйствуютъ въ полнотѣ своей, а тѣлесныя силы еще не слабѣютъ примѣтно; когда мы уже знаемъ свѣтъ и людей, ихъ отношенія къ намъ, игру страстей, цѣну удовольствій и законъ Природы, для нихъ уставленный; когда разумъ нашъ, богатый идеями, сравненіями, опытами, находитъ истинную мѣру вещей, соглашается съ нею желанія сердца и даетъ жизни общій *харак-*

*теръ благоразумія. Какъ плодъ дерева, такъ и жизнь бываетъ всего сладостнѣе передъ началомъ увяданія.*

Сія истина доказываетъ мнѣ благородство человѣка. Естли бы умная нравственность была случайною принадлежностію существа нашего (какъ нѣкоторые утверждали) и только слѣдствіемъ общественныхъ связей, въ которыя мы зашли, уклоняясь отъ путей Натуры: то она не могла бы своими удовольствіями замѣнять для насъ живости и пылкости цвѣтущихъ дней молодости; не только замѣнять ихъ, но и несравненно возвышать цѣну жизни: ибо человѣкъ за тридцать пять лѣтъ безъ сомнѣнія не пылаетъ уже такъ страстями, какъ юноша, а въ самомъ дѣлѣ можетъ быть гораздо его счастливѣе.

Въ сіе время люди по большой части бываютъ уже супругами, отцами, и наслаждаются въ жизни самыми вѣрнѣйшими радостями: семейственными. Мы ограничиваемъ сферу бытія своего, чтобы не бѣгать вдаль за удовольствіями; перестаемъ странствовать по туманнымъ областямъ мечтанія, *живемъ дома*, живемъ болѣе въ самихъ себѣ, требуемъ менѣе отъ людей и свѣта; менѣе огорчаемся неудачами, ибо менѣе ожидаемъ благопріятныхъ случайностей. Жребій брошенъ; состояніе избрано, утверждено: стараемся возвеличить его достоинство пользою для общества; хотимъ оставить въ мірѣ благодѣтельные слѣды бытія своего; воспитаніе дѣтей, хозяйство, государственныя должности, обращаются для насъ въ душевное удовольствіе, а дружба и пріязнь въ сладкое отдохновеніе... Поля, нашими трудами обогащенные—сады, нами обработанный—земледѣльцы, насъ благодарящіе—лица домашнихъ спокойныя, сердца ихъ къ намъ привязанныя—радуютъ мирную душу опытнаго человѣка болѣе, нежели сіи шумныя забавы, сіи призраки воображенія и страстей, которые обольщаютъ молодость. Здоровье, столь мало уважаемое въ юныхъ лѣтахъ, дѣлается въ лѣтахъ зрѣлости истиннымъ благомъ: самое *чувство жизни* бываетъ гораздо милѣе тогда, когда уже пролетѣла

ея быстрая половина... такъ остатки ясныхъ осеннихъ дней располагають насъ живѣе чувствовать прелесть Натуры; думая, что скоро все увянетъ, боимся пропустить минуту безъ наслажденія!.. Юноша неблагодаренъ: волнуемый темными желаніями, беспокойный отъ самаго избытка силъ своихъ, съ небреженіемъ ступаетъ онъ на цвѣты, которыми Природа и судьба украшаютъ стезю его въ міръ: человѣкъ, искушенный опытами, въ самыхъ горестяхъ любитъ благодарить Небо со слезами за малѣйшую отраду.

Въ сіе же время дѣйствуетъ и торжествуетъ Геній.... Ясный взоръ на міръ открываетъ истину; воображеніе сильное представляетъ ея черты живо и разительно, вкусъ зрѣлый украшаетъ ее простотою, и творенія ума человѣческаго являются въ совершенствѣ, и творецъ дерзаетъ наконецъ простирать руку къ потомству, быть современникомъ вѣковъ и гражданиномъ вселенной. Молодость любитъ въ славѣ только шумъ, а душа зрѣлая справедливое, основательное признаніе ея полезной для свѣта дѣятельности. Истинное славолубіе не волнуетъ, не терзаетъ, но сладостно покоитъ душу, среди монументовъ тлѣнія и смерти, открывая ей путь безсмертія талантовъ и разума; мысль утѣшительная для существа, которое столько любитъ жить и дѣйствовать, но столь не долговѣчно своимъ бытіемъ физическимъ!

Дни цвѣтущей юности и пылкихъ желаній! не могу жалѣть о васъ. Помню восторги, но помню и тоску свою; помню восторги, но не помню щастія: его не было въ сей бурной стремительности чувствъ къ безпрестаннымъ наслажденіямъ, которая бываетъ мукою; его нѣтъ и теперь для меня въ свѣтѣ — но не въ лѣтахъ кипѣнія страстей, а въ полномъ дѣйствіи ума, въ мирныхъ трудахъ его, въ тихихъ удовольствіяхъ жизни единообразной, успокоенной, хотѣлъ бы я сказать солнцу: *остановися!* если бы въ то же время могъ сказать и мертвымъ *возстаньте изъ гроба!*

XIV.  
**О ЛЮБВИ КЪ ОТЕЧЕСТВУ**  
и  
**НАРОДНОЙ ГОРДОСТИ.**

1802.

Любовь къ отечеству можетъ быть *физическая, нравственная и политическая.*

Человѣкъ любитъ мѣсто своего рожденія и воспитанія. Сія привязанность есть общая для всѣхъ людей и народовъ; есть дѣло Природы, и должна быть названа *физическою*. Родина мила сердцу не мѣстными красотою, не яснымъ небомъ, не пріятнымъ климатомъ, а плѣнительными воспоминаніями, окружающими, такъ сказать, утро и колыбель человѣчества. Въ свѣтѣ нѣтъ ничего милѣе жизни; она есть первое щастіе — а начало всякаго благополучія имѣть для нашего воображенія какую-то особенную прелесть. Такъ нѣжные любовники и друзья освящаютъ въ памяти первый день любви и дружбы своей. Лапланецъ, рожденный почти въ гробѣ Природы, не смотря на то любитъ холодный мракъ земли своей. Переселите его въ щастливую Италію: онъ взоромъ и сердцемъ будетъ обращаться къ сѣверу, подобно магниту; яркое сіяніе солнца не произведетъ такихъ сладкихъ чувствъ въ его душѣ, какъ день сумрачный, какъ свистъ бури, какъ паденіе снѣга: они напоминаютъ ему отечество!—Самое расположеніе нервъ, образованныхъ въ человѣкѣ по климату, привязываетъ насъ къ родинѣ. Не даромъ Медикъ совѣтуютъ иногда больнымъ лечиться ея воздухомъ; не даромъ житель Гельвеціи, удаленный отъ снѣжныхъ горъ своихъ, сохнетъ и впадаетъ въ меланхолію; а возвращаясь въ дикой Унтервальденъ, въ суровый Гларисъ, оживаетъ. Всякое растеніе имѣетъ болѣе силы въ своемъ климатѣ: законъ Природы и для человѣка не измѣняется. — Не говорю, чтобы естественныя красоты и выгоды отчизны не

имѣли никакого вліянія на общую любовь къ ней: нѣкоторые земли, обогащенныя Природою, могутъ быть тѣмъ милѣе своимъ жителямъ; говорю только, что сіи красоты и выгоды не бываютъ главнымъ основаніемъ физической привязанности людей къ отечеству; ибо она не была бы тогда общею.

Съ кѣмъ мы росли и живемъ, къ тѣмъ привыкаемъ. Душа ихъ *сообразуется* съ нашею; дѣлается нѣкоторымъ ея зеркаломъ; служить предметомъ или средствомъ нашихъ нравственныхъ удовольствій, и обращается въ предметъ склонности для сердца. Сія любовь къ согражданамъ, или къ людямъ, съ которыми мы росли, воспитывались и живемъ, есть вторая или нравственная любовь къ отечеству, столь же общая, какъ и первая, мѣстная или физическая, но дѣйствующая въ нѣкоторыхъ лѣтахъ сильнѣе: ибо время утверждаетъ привычку. Надобно видѣть двухъ единоземцевъ, которые въ чужой землѣ находятъ другъ друга: съ какимъ удовольствіемъ они обнимаются и спѣшатъ изливать душу въ искреннихъ разговорахъ! Они видятся въ первый разъ, но уже знакомы и дружны, утверждая личную связь свою какими нибудь общими связями отечества! Имъ кажется, что они, говоря даже иностраннымъ языкомъ, лучше разумѣютъ другъ друга, нежели прочихъ; ибо въ характерѣ единоземцевъ есть всегда нѣкоторое сходство, и жители одного государства образуютъ всегда, такъ сказать, электрическую цѣпь, передающую имъ одно впечатлѣніе посредствомъ самыхъ отдаленныхъ колецъ или звеньевъ.—На берегахъ прекраснѣйшаго въ мірѣ озера, служащаго зеркаломъ богатой Натурѣ, случилось мнѣ встрѣтить Голландскаго Патріота, который, по ненависти къ Штатгальтеру и Оранпстамъ, выѣхалъ изъ отечества и поселился въ Швейцаріи между Ніона и Роля. У него былъ прекрасный домикъ, физическій Кабинетъ, бібліотека; сидя подъ окномъ, онъ видѣлъ передъ собою великолѣпнѣйшую картину Природы. Ходя мимо домика, я завидовалъ хозяину, не зная его; познакомился съ нимъ въ Женевѣ, и сказалъ ему о томъ. Отвѣтъ Голландскаго флегма-

тика удивилъ меня своею живостію: „Никто не можетъ быть „щастливъ внѣ своего отечества, гдѣ сердце его выучилось „разумѣть людей, и образовало свои любимыя привычки. Нп- „какимъ народомъ не лѣзя замѣнить согражданъ. Я живу не „съ тѣмъ, съ кѣмъ жилъ 40 лѣтъ, и живу не такъ, какъ „жилъ 40 лѣтъ: трудно пріучать себя къ новостямъ, и мнѣ „скучно“!

Но физическая и нравственная привязанность къ отечеству, дѣйствіе Натуры и свойствъ человѣка, не составляетъ еще той великой добродѣтели, которою славились Греки и Римляне. Патріотизмъ есть любовь ко благу и славѣ отечества, и желаніе способствовать имъ во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ требуетъ разсужденія — и потому не всѣ люди имѣютъ его.

Самая лучшая Философія есть та, которая основываетъ должности человѣка на его щастіи. Она скажетъ намъ, что мы должны любить пользу отечества, ибо съ нею неразрывна наша собственная; что его просвѣщеніе окружаетъ насъ самихъ многими удовольствіями въ жизни; что его тишина и добродѣтели служатъ щитомъ семейственныхъ наслажденій; что слава его есть наша слава; и если оскорбительно чело- вѣку называться сыномъ презрѣннаго отца, то не менѣе оскорбительно и гражданину называться сыномъ презрѣннаго отечества. Такимъ образомъ любовь къ собственному благу производитъ въ насъ любовь къ отечеству, а личное самолюбіе гордость народную! которая служитъ опорою Патріотизма. Такъ Греки и Римляне считали себя первыми народами, а всѣхъ другихъ варварами; такъ Англичане, которые въ новѣйшія времена болѣе другихъ славятся Патріотизмомъ, болѣе другихъ о себѣ мечтаютъ.

Я не смѣю думать, чтобы у насъ въ Россіи было не много Патріотовъ: но мнѣ кажется, что мы излишне *смирны* въ мысляхъ о народномъ своемъ достоинствѣ—а смиреніе въ Политикѣ вредно. Кто самого себя не уважаетъ, того безъ сомнѣнія и другіе уважать не будутъ.

Не говорю, чтобы любовь къ отечеству долженствовала ослѣплять насъ и увѣрять, что мы всѣхъ и во всемъ лучше; но Русской долженъ по крайней мѣрѣ знать цѣну свою. Согласимся, что нѣкоторые народы вообще насъ просвѣщеннѣе; ибо обстоятельства были для нихъ щастливѣе; но почувствуемъ же и всѣ благодѣянія Судьбы въ разсужденіи народа Россійскаго; станемъ смѣло на ряду съ другими, скажемъ ясно имя свое, и повторимъ его съ благородною гордостію.

Мы не имѣемъ нужды прибѣгать къ баснямъ и выдумкамъ, подобно Грекамъ и Римлянамъ, чтобы возвысить наше происхожденіе; слава была колыбелію народа Русскаго, а побѣда вѣстницею бытія его. Римская Имперія узнала, что есть Славяне, ибо они пришли и разбили ея легіоны. Историки Византійскіе говорятъ о нашихъ предкахъ, какъ о чудесныхъ людяхъ, которымъ ничто не могло противиться, и которые отличались отъ другихъ Сѣверныхъ народовъ не только своею храбростію, но и какимъ-то рыцарскимъ добродушіемъ. Герои наши въ девятомъ, въ десятомъ вѣкѣ играли и забавлялись ужасомъ тогдашней новой столицы міра: имъ надлежало только явиться подъ стѣнами Константинополя, чтобы взять дань съ Царей Греческихъ. Въ первомъ-надесяти вѣкѣ Русскіе, всегда превосходные храбростію, не уступали другимъ Европейскимъ народамъ и въ просвѣщеніи, имѣя по Религін тѣсную связь съ Царемъ-градомъ, который дѣлился съ нами плодами учености; и во время Ярослава были переведены на Славянской языкъ многія Греческія книги. Къ чести твердаго Русскаго характера служить то, что Константинополь никогда не могъ присвоить себѣ политическаго вліянія на отечество наше. Князья любили разумъ и знаніе Грековъ, но всегда готовы были оружіемъ наказывать ихъ за малѣйшіе знаки дерзости.

Раздѣленіе Россіи на многія владѣнія и несогласіе Князей приготовили торжество Чингисъ-Хановыхъ потомковъ и наши долговременныя бѣдствія. Великіе люди и великіе народы подвержены ударамъ рока, но и въ самомъ несчастіи явля-

ють свое величіе. Такъ Россія, терзаемая лютымъ врагомъ, гибла со славою: цѣлые города предпочитали вѣрное истребленіе стыду рабства. Жители Владиміра, Чернигова, Кіева принесли себя въ жертву народной гордости, и тѣмъ спасли ния Русскихъ отъ поношенія. Историкъ, утомленный сими несчастными временами, какъ ужасною безплодною пустынею, отдыхаетъ на могилахъ, и находитъ отраду въ томъ, чтобы оплакивать смерть многихъ достойныхъ сыновъ отечества.

Но какой народъ въ Европѣ можетъ похвалиться лучшею судьбою? Который изъ нихъ не былъ въ узахъ нѣсколько разъ? По крайней мѣрѣ завоеватели наши устрасали востокъ и западъ. Тамерланъ, сидя на тронѣ Самаркандскомъ, воображалъ себя царемъ міра.

И какой народъ такъ славно разорвалъ свои цѣпи? такъ славно отмстилъ врагамъ свирѣпымъ? надлежало только быть на престолѣ рѣшительному, смѣлому Государю; народная сила и храбрость, послѣ нѣкотораго усыпленія, громомъ и молніею возвѣстили свое пробужденіе.

Время Самозванцевъ представляетъ опять горестную картину мятежа; но скоро любовь къ отечеству воспламеняетъ сердца — граждане, земледѣльцы требуютъ военачальника, и Пожарскій, ознаменованный славными ранами, встаетъ съ одра болѣзни. Добродѣтельный Мининъ служитъ примѣромъ; и кто не можетъ отдать жизни отечеству, отдаетъ ему все, что имѣеть... Древняя и новая Исторія народовъ не представляетъ намъ ничего трогательнѣе сего общаго, геройскаго Патріотизма. Въ царствованіе Александра позволено желать Русскому сердцу, чтобы какой нибудь достойный монументъ, сооруженный въ Нижнемъ Новѣгородѣ (гдѣ раздался первый гласъ любви къ отечеству), обновилъ въ нашей памяти славную эпоху Русской Исторіи. Такіе монументы возвышаютъ духъ народа. Скромный Монархъ не запретилъ бы намъ сказать въ надписи, что сей памятникъ сооруженъ въ *Его щастливое* время.

Петръ Великій, *соединивъ* насъ съ Европою, и показавъ

намъ выгоды просвѣщенія, не надолго унизилъ народную гордость Русскихъ. Мы взглянули, такъ сказать, на Европу, и однимъ взоромъ присвоили себѣ плоды долговременныхъ трудовъ ея. Едва Великій Государь сказалъ нашимъ воинамъ, какъ надобно владѣть новымъ оружіемъ, они, взявъ его, летѣли сражаться съ первою Европейскою арміею. Явились Генералы, нынѣ ученики, завтра примѣры для учителей. Скоро другіе могли и должны были перенимать у насъ; мы показали, какъ бьютъ Шведовъ, Турковъ—и наконецъ Французовъ. Сіи славные Республиканцы, которые еще лучше говорятъ, нежели сражаются, и такъ часто твердятъ о своихъ ужасныхъ штыкахъ, бѣжали въ Италіи отъ перваго взмаха штыковъ Русскихъ. Зная, что мы храбрѣе многихъ, не знаемъ еще, кто насъ храбрѣе. Мужество есть великое свойство души; народъ имъ отличенный, долженъ гордиться собою.

Въ военномъ искусствѣ мы успѣли болѣе, нежели въ другихъ, отъ того, что имъ болѣе занимались какъ нужнѣйшимъ для утвержденія государственнаго бытія нашего; однакожь не одними лаврами можемъ хвалиться. Наши гражданскія учрежденія мудростію своею равняются съ учрежденіями другихъ государствъ, которыя нѣсколько вѣковъ просвѣщаются. Наша людкость, тонъ общества, вкусъ въ жизни, удивляютъ иностранцевъ, пріѣзжающихъ въ Россію съ ложнымъ понятіемъ о народѣ, который въ началѣ осьмага-надесять вѣка считался варварскимъ.

Завистники Русскихъ говорятъ, что мы имѣемъ только въ вышней степени *переимчивость*; но развѣ она не есть знакъ превосходнаго образованія души? Сказываютъ, что учителя Лейбница находили въ немъ также одну *переимчивость*.

Въ наукахъ мы стоимъ еще позади другихъ, для того—и для того единственно, что менѣе другихъ занимаемся ими, и что ученое состояніе не имѣетъ у насъ такой обширной сферы, какъ, напримѣръ, въ Германіи, Англіи, и проч. Если бы наши молодые дворяне *учась могли доучиваться* и посвящать себя наукамъ, то мы имѣли бы уже своихъ Лин-

неевъ, Галлеровъ, Боннетовъ. Успѣхи Литтературы нашей (которая требуетъ менѣе учености, но, смѣю сказать, еще болѣе разума, нежели собственно такъ называемыя науки) доказываютъ великую способность Русскихъ. Давно ли знаемъ, что такое слоги въ стихахъ и прозѣ? и можемъ въ нѣкоторыхъ частяхъ уже равняться съ иностранцами. У Французовъ еще въ шестомъ-надесять вѣкѣ философствовалъ и писалъ Монтанъ: чудно ли, что они вообще пишутъ лучше насъ? Не чудно ли, напротивъ того, что нѣкоторые наши произведенія могутъ стоять на ряду съ ихъ лучшими, какъ въ живописи мыслей, такъ и въ отѣнкахъ слога? Будемъ только справедливы, любезные сограждане, и почувствуемъ цѣну собственного. Мы никогда не будемъ умны чужимъ умомъ и славны чужою славою. Французскіе, Англійскіе Авторы могутъ обойтись безъ нашей похвалы: но Русскимъ нужно по крайней мѣрѣ вниманіе Русскихъ. Расположеніе души моея, слава Богу! совсѣмъ противно сатирическому и бранному духу: но я осмѣлюсь попенять многимъ изъ нашихъ любителей чтенія, которые, зная лучше Парижскихъ жителей всѣ произведенія Французской Литтературы, не хотятъ и взглянуть на Русскую книгу. Того ли они желаютъ, чтобы иностранцы увѣдомляли ихъ о Русскихъ талантахъ? Пусть же читаютъ Французскіе и Нѣмецкіе критическіе Журналы, которые отдають справедливость нашимъ дарованіямъ, судя по нѣкоторымъ переводамъ<sup>1)</sup>. Кому не будетъ обидно походить на Даланбертову мамку, которая живучи съ нимъ, къ изумленію своему услышала отъ другихъ, что онъ умный человекъ? Нѣкоторые извиняются худымъ знаніемъ Русскаго языка: это извиненіе хуже самой вины. Оставимъ нашимъ любезнымъ свѣтскимъ дамамъ утверждать, что Русской языкъ грубъ и непріятенъ: что *charmant* и *séduisant*, *expansion* и

---

<sup>1)</sup> Такимъ образомъ самой худой Французской переводъ Ломоносова Одъ и разныхъ мѣстъ изъ Сумарокова заслужилъ вниманіе и похвалу иностранныхъ Журналистовъ.

vareurs не могутъ быть на немъ выражены; и что, однимъ словомъ, не стоитъ труда знать его. Кто смѣетъ доказывать дамамъ, что онѣ ошибаются? Но мужчины не имѣютъ такого любезнаго права судить ложно. Языкъ нашъ выразителенъ не только для высокаго краснорѣчія, для громкой, живописной Поэзіи, но и для нѣжной простоты, для звуковъ сердца и чувствительности. Онъ богатѣетъ гармонією, нежели Французской; способнѣе для изліянія души въ тонахъ; представляетъ болѣе *аналогическихъ* словъ, то есть сообразныхъ съ выражаемымъ дѣйствіемъ: выгода, которую имѣютъ одни коренные языки! Бѣда наша, что мы все хотимъ говорить по-Французски, и не думаемъ трудиться надъ обработываніемъ собственнаго языка: мудрено ли, что не умѣемъ изъяснять имъ нѣкоторыхъ тонкостей въ разговорѣ? Одинъ иностранный Министръ сказалъ при мнѣ, что „языкъ нашъ долженъ быть весьма теменъ, ибо Русскіе, говоря имъ, по его замѣчанію не разумѣютъ другъ друга, и тотчасъ должны прибѣгать къ Французскому“. Не мы ли сами подаемъ поводъ къ такимъ нелѣпымъ заключеніямъ? — Языкъ важенъ для Патріота, и я люблю Англичанъ за то, что они лучше хотятъ *свистать* и *шиптъ* по Англійски съ самыми нѣжными любовницами своими, нежели говорить чужимъ языкомъ, извѣстнымъ почти всякому изъ нихъ.

Есть всему предѣлъ и мѣра; какъ человѣкъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ; но долженъ со временемъ быть *самъ собою*, чтобы сказать: *я существую нравственно!* Теперь мы уже имѣемъ столько знаній и вкуса въ жизни, что могли бы жить, не спрашивая: какъ живутъ въ Парижѣ и въ Лондонѣ? что тамъ носятъ, въ чемъ ѣздятъ, и какъ убираютъ дома? Патріотъ спѣшитъ присвоить отечеству благодѣтельное и нужное, но отвергаетъ рабскія подражанія въ бездѣлкахъ, оскорбительныя для народной гордости. Хорошо и должно учиться: но горе и человѣку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ!

До сего времени Россія безпрестанно возвышалась какъ въ политическомъ, такъ и въ нравственномъ смыслѣ. Можно сказать, что Европа годъ отъ году насъ болѣе уважаетъ—и мы еще въ срединѣ нашего славнаго теченія. Наблюдатель вездѣ видитъ новыя *отрасли и раскрытія*; видитъ много плодовъ, но еще болѣе цвѣта. Символъ нашъ есть пылкій юноша: сердце его, полное жизни, любитъ дѣятельность; девизъ его есть: *труды и надежда!* — Побѣды очистили намъ путь ко благоденствію; слава есть право на щастіе.

*Планъ разсужденія:* Часть первая — о любви къ отечеству: 1) Любовь физическая, ея происхожденіе и причипы; 2) Любовь нравственная, ея причины и подтвержденіе послѣднихъ примѣрами и свидѣтельствами; 3) Любовь историческая. — Часть вторая — о народной гордости: 1) Славное прошлое Россіи. 2) Наше военное искусство, гражданскія учрежденія, общества. 3) Переничивость. 4) Наука, литература и языкъ. Заключение—укоръ нашей рабской подражательности иноземцамъ.

## XV.

### ИЛЬЯ МУРОМЕЦЪ.

#### БОГАТЫРСКАЯ СКАЗКА<sup>1)</sup>.

1794.

Le monde est vieux, dit-on; je le crois; cependant  
Il le faut amuser encore comme un enfant.

*La Fontaine.*

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Не хочу съ Поэтомъ Греціи  
звучнымъ гласомъ Калліопинымъ  
пѣть вражды Агамемноновой  
съ храбрымъ правнукомъ Юпитера;

---

<sup>1)</sup> Вотъ начало бездѣлки, которая занимала нынѣшнимъ лѣтомъ уединенные часы мои. Продолженіе остается до другаго времени; конца еще нѣтъ,—можетъ быть и не будетъ.—Въ разсужденіи мѣры скажу, что она совершенно Русская. Почти всѣ наши старинныя пѣсни сочинены такими стихами.

или, слѣдуя Виргилію,  
плыть отъ Трои разоренныя  
съ хитрымъ сыномъ Афродитинымъ  
къ злачнымъ берегамъ Италіи.  
Не желаю въ Мнѳологіи  
черпать дивныхъ, странныхъ вымысловъ.  
Мы не Греки и не Римляне;  
мы не вѣримъ ихъ преданіямъ;  
мы не вѣримъ, чтобы богъ Сатурнъ  
могъ любезнаго родителя  
превратить въ урода жалкаго;  
чтобы Леды были—курицы,  
и несли весною лица,  
чтобы Поллуксы съ Еленами  
родились отъ бѣлыхъ лебедей.  
Намъ другія сказки надобны;  
мы другія сказки слышали  
отъ своихъ покойныхъ мамушекъ.  
Я намѣренъ слогомъ древности  
разсказать теперь одну изъ нихъ  
вамъ, любезные читатели,  
если вы въ часы свободные  
удовольствіе находите  
въ Русскихъ басняхъ, въ Русскихъ повѣстяхъ,  
въ смѣси былей съ небылицами,  
въ сихъ игрушкахъ мирной праздности,  
въ сихъ мечтахъ воображенія.  
Ахъ! не все намъ горькой истиной  
мучить томныя сердца свои!  
ахъ! не все намъ рѣки слезныя  
лить о бѣдствіяхъ существенныхъ!  
На минуту позабудемся  
въ чародѣйствѣ красныхъ вымысловъ!

Не хочу я на Парнасъ итти;  
нѣтъ! Парнасъ гора высокая,  
и дорога къ ней не гладкая.  
Я видалъ, какъ наши витязи,  
наши стихо-риемо-дѣтели,  
упиваясь одопѣніемъ,  
лѣзутъ на вершину Пиндову,  
обступаются и внизъ летятъ,  
не съ вѣнцами и не съ лаврами,  
но съ ушами (ахъ!) ослиными,  
для позорища насмѣшникамъ!  
Нѣтъ, любезные читатели!  
я прошу васъ не туда съ собой.  
Близъ моей смиренной хижинны,  
на берегу рѣки прозрачнаго,  
роща древняя, дубовая,  
насъ укроетъ отъ лучей дневныхъ.  
Тамъ мой дѣдушка на старости  
въ жаркой полдень отдыхалъ всегда  
на колѣняхъ милой бабушки;  
тамъ виситъ его пернатый шлемъ;  
тамъ виситъ его булатный мечъ,  
коимъ онъ враговъ отечества  
за гордыню ихъ наказывалъ—  
(кровь Турецкая и Шведская  
и теперь еще видна на немъ).  
Тамъ я сяду на берегу рѣки,  
и подъ тѣнью древъ развѣсистыхъ  
буду повѣсть вамъ рассказывать.  
Тамъ вы можете тихохонько,  
если скучно вамъ покажется,  
раза два зѣвнувъ, сомкнуть глаза.

Ты, которая въ подсолнечной  
всюду видима и слышима;

ты, которая, какъ богъ Протей  
всякой образъ на себя берешь,  
всякимъ голосомъ умѣешь шѣтъ,  
удивляешь, забавляешь насъ,—  
все вѣщаешь, кромѣ... истины;  
объявляешь съ газетирами  
сокровенности Политики,  
сочиняешь съ стихотворцами  
знатнымъ похвалы прекрасныя;  
величаешь Пантомороса<sup>1)</sup>  
славнымъ безпримѣрнымъ авторомъ;  
съ Алхимистомъ открываешь намъ  
тайну камня философскаго;  
изъясняешь съ систематикомъ  
связь души съ тѣлесной сущностью  
и свободы человѣческой  
съ непремѣнными законами;—  
ты, которая съ Людмилою  
нѣжнымъ и дрожащимъ голосомъ  
мнѣ сказала: *я люблю тебя!*  
о богиня свѣта бѣлаго—  
*Ложь, неправда*, призракъ истины!  
будь теперь моей богинею,  
и цвѣтами луга Русскаго  
Убери Героя древности,  
величайшаго изъ витязей,  
чудодѣя *Илью Муромца!*  
Я объ немъ хочу бесѣдовать,—  
объ его безсмертныхъ подвигахъ.  
Ложь! съ тобою не учиться мнѣ  
небылицы выдавать за быль.

Солнце красное явилось  
на лазурь неба чистаго,

---

<sup>1)</sup> То есть, обер-дурака.

и лучами злата яркаго  
освѣтило рощу тихую.  
холмъ зеленый и цвѣтущій долъ.  
Улыбнулось все твореніе;  
воды съ блескомъ заструилися;  
травки, ночью освѣженныя,  
и цвѣточки благовонныя  
растворили воздухъ утренній  
сладкимъ духомъ, ароматами.  
Всѣ кусточки оживилися,  
и пернатые малютки,  
конопляночка съ малиновкой,  
въ нѣжныхъ пѣсняхъ славить начали  
день, безопасность и спокойствіе.  
Никогда въ Россійской области  
не бывало утро лѣтнее  
веселѣе и прекраснѣе.

Ктожь симъ утромъ наслаждается?  
Кто на статномъ соловомъ конѣ,  
черный щитъ держа въ одной рукѣ,  
а въ другой копье булатное,  
ѣдетъ по луку какъ грозный царь?  
На главѣ его пернатый племъ  
съ золотою, свѣтлой бляхою;  
на бедрѣ его тяжелый мечъ:  
латы, солнцемъ освѣщенныя,  
сыплютъ искры и огнемъ горять.  
Кто сей витязь, богатырь молодой?  
Опъ подобенъ Маю красному:  
розы алыя съ листьями  
разцвѣтають на лицѣ его,  
Онъ подобенъ мирту нѣжному:  
тонокъ, прямъ и величавъ собой.  
Взоръ его быстрѣй орлиного,

и свѣтлѣ ясна мѣсяца.  
Кто сей рыцарь?—Илья Муромецъ.  
Онъ проѣхалъ дикой темной лѣсъ,  
и глазамъ его является  
поле гладкое, обширное,  
гдѣ Природою разсыпаны  
въ изобиліи дары земли.  
Витязь Геснера не читываль;  
но имѣя сердце нѣжное,  
любовался красотою дня:  
тихимъ шагомъ ѣхалъ по лугу,  
и въ душѣ своей чувствительной  
жертву утреннюю, чистую,  
приносилъ Царю небесному.  
„Ты, Которой украшаешь все,  
„Русской Богъ и Богъ вселенныя!  
„Ты, Которой надѣляешь насъ  
„всѣми благами щедротъ Своихъ!  
„будь всегда моимъ помощникомъ!  
„Я клянуся вѣчно слѣдовать  
„богатырскимъ предписаніямъ  
„и уставамъ добродѣтели,  
„быть защитникомъ невинности,  
„бѣдныхъ, сирыхъ и несчастныхъ вдовъ,  
„и наказывать мечемъ своимъ  
„злыхъ тирановъ и волшебниковъ,  
„устрашающихъ сердца людей!“—  
Такъ Герой нашъ размышлялъ въ себѣ,  
и повсюду обращая взоръ,  
за кустами впереди себя;  
надъ струями рѣчки быстрыя,  
видитъ свѣтло-голубой шатеръ,  
видитъ ставку богатырскую  
съ золотою круглой маковкой.  
Онъ къ кусточкамъ приближается,

и стучить копьемъ въ желѣзный щитъ:  
но отвѣту богатырскаго  
нѣтъ на стукъ его оружія.  
Бѣлый конь гуляетъ по лугу,  
не осѣдланый, ни взнузданный,—  
щиплетъ травку ароматную,  
и слѣды подковъ серебряныхъ  
оставляетъ на росѣ цвѣтовъ.  
Не выходитъ витязь къ витязю  
поклониться, ознакомиться.

Удивляется нашъ Муромецъ;  
смотреть на небо и думаетъ:  
„солнце выше горъ лазоревыхъ,  
„я Россійской богатырь въ шатрѣ  
„не ужель еще покоится?“—  
Онъ пускаетъ на зеленой лугъ  
своего коня надежнаго,  
и вступаетъ смѣлой поступью  
въ ставку съ золотою маковкой.

Для чего Природа дивная  
не дала мнѣ дара чуднаго  
нѣжной кистию прельщать глаза,  
и писать живыми красками  
съ Тиціаномъ и Корреджіемъ?  
Ахъ! тогда бы я представилъ вамъ,  
что увидѣлъ витязь Муромецъ  
въ ставкѣ съ золотою маковкой.  
Вы бы вмѣстѣ съ нимъ увидѣли—  
безпримѣрную красавицу,  
всѣхъ любезностей собраніе,  
рѣдкость милыхъ женскимъ прелестей;  
вы бы вмѣстѣ съ ними увидѣли,  
какъ она пріятнымъ, тихимъ сномъ  
наслаждалась въ голубомъ шатрѣ.....

Но не можно въ сказкѣ выразить,  
и не можно написать перомъ,  
чѣмъ глаза Героя нашего  
улаждались на ея челѣ,  
на ея устахъ малиновыхъ,  
на ея бровяхъ возвышенныхъ,  
и на всемъ лицѣ красавицы.—  
Латы съ золотой насѣчкою,  
племъ съ перомъ заморской *жаръ-птицы*,  
мечъ съ топазной рукояткою,  
копіе съ булатнымъ остріемъ,  
щитъ изъ стали вороненныя  
и сѣдло съ блестящею осыпью  
на травѣ лежали вокругъ ее.

Сердце твердое, геройское,  
твердо въ битвахъ и сраженіяхъ  
со врагами добродѣтели—  
твердо въ бѣдствіяхъ, опасностяхъ;  
но не твердо противъ женскихъ стрѣлъ....  
Витязь зналъ красавицъ множество  
въ безпредѣльной Русской области,  
но такой еще не видывалъ.  
Взоръ его не отвращается  
отъ румянаго лица ея.  
Онъ боится разбудить ее;  
онъ досадуетъ, что сердце въ немъ  
бьется съ частымъ, сильнымъ трепетомъ;  
онъ дыханіе въ груди своей  
останавливать старается...  
Но ему опять желается,  
чтобъ красавица очнулась вдругъ,  
ему хочется глаза ея—  
вѣрно свѣтлые, любезные—  
видѣть подъ бровями черными;

ему хочется внимать ея  
гласу тихому, пріятному,  
ему хочется узнать ея  
любопытную исторію,  
и откуда, и куда она,  
и зачѣмъ дѣвица красная  
(витязь думалъ и угадывалъ,  
что она была дѣвицею)  
ѣздитъ по свѣту геройствовать,  
подвергается опасностямъ  
жизни трудной, жизни рыцарской,  
не бояся жара, холода.  
„Руки слабой, тлѣнной женщины  
могутъ шить серебромъ и золотомъ  
въ красномъ и покойномъ теремѣ,—  
не мечемъ и не копьемъ владѣть;  
Естьли кто изъ злыхъ волшебниковъ  
въ плѣнъ возьметъ дѣвицу юную:  
ахъ! чего злодѣй безчувственной  
съ нею въ ярости не сдѣлаетъ?“—  
Такъ Илья съ собой бесѣдуетъ,  
и взираетъ на прекрасную.

Время быстрою стрѣлой летить;  
часъ проходить за минутами,  
и за утромъ полдень слѣдуетъ—  
незнакомка спитъ глубокимъ сномъ.

Солнце къ западу склоняется,  
и съ зѣирною прохладою  
вечеръ сходить съ неба яснаго  
на луга и поле чистое—  
незнакомка спитъ глубокимъ сномъ.

Ночь на облакѣ спускается,  
и густыя тѣмы покровами

одѣваетъ землю тихую;  
слышно ручейковъ журчаніе,  
слышно эхо отдаленное,  
и въ кусточкахъ соловей поетъ—  
незнакомка спитъ глубокимъ сномъ.

Тщетно витязъ дожидается,  
чтобъ она рукою бѣлою  
хотя разъ тихонько тронулась,  
и открыла очи ясныя!  
Незнакомка спитъ по прежнему.

Онъ садится въ голубомъ шатрѣ,  
и взирая на прекрасную,  
видитъ въ самой темнотѣ ночной  
красоту ея небесную.

Ночь проходитъ, наступаетъ день;  
день проходитъ, наступаетъ ночь—  
незнакомка спитъ по прежнему.

Рыцарь нашъ сидитъ какъ вкопаной;  
забываетъ пищу, нужный сонъ.

„Что за чудо! рыцарь думаетъ:  
я слыхалъ о богатырскомъ снѣ;  
иногда онъ продолжается  
три дни съ часомъ, но не болѣе;  
а красавица любезная...“  
Тутъ онъ видитъ муху черную  
на ея устахъ малиновыхъ;  
забываетъ разсужденія,  
и рукою богатырскою  
гонитъ злаго насѣкомаго;  
и красавица любезная  
растворяетъ очи ясныя!

Кто опишетъ милый взоръ ея,  
кто улыбку пробужденія  
ту любезность несказанную,  
съ коей, вставъ, она привѣтствуетъ  
незнакомаго ей рыцаря?  
„Долгобъ спать мнѣ непрерывнымъ сномъ,  
юный рыцарь! (говоритъ она)  
естьлибъ ты не разбудилъ меня.  
Сонъ мой былъ очарованіемъ  
злаго, хитраго волшебника,  
*Черномора ненавистника.*  
Вижу перстень на рукѣ твоей,  
перстень добрыя волшебницы,  
*Велеславы* благодѣтельной:  
онъ своею тайной силою,  
прикоснувшись къ моему лицу,  
уничтожилъ заклинаніе  
*Черномора ненавистника.*“  
Витязь снялъ съ себя пернатый племъ:  
чернобархатные волосы  
по плечамъ его рассыпались.  
Какъ заря алѣетъ на небѣ,  
разливаясь въ морѣ розовомъ  
предъ восходомъ солнца краснаго:  
такъ румянецъ на щекахъ его  
разливался въ аломъ пламени.  
Какъ роса сіяетъ на полѣ,  
осребренная свѣтиломъ дня,  
такъ сердечная чувствительность  
въ маслѣ глазъ его свѣтилася.  
Стоя съ видомъ милой скромности  
предъ любезной незнакомкою,  
тихимъ и дрожащимъ голосомъ  
онъ красавицѣ отвѣтствуетъ:  
„даръ волшебницы любезныя

милъ и дорогъ моему сердцу;  
я ему обязанъ щастіемъ  
видѣть ясный свѣтъ очей твоихъ".—  
Взоромъ нѣжнымъ, выразительнымъ  
онъ сказалъ гораздо болѣе.

Незнакомка взоръ потупила—  
закраснѣлася какъ маковъ цвѣтъ,  
и взялась рукою бѣлою  
за доспѣхи богатырскіе.  
Рыцарь понялъ, что красавицѣ  
безъ свидѣтелей желается  
нарядиться юнымъ витяземъ.  
Онъ изъ ставки вышелъ бережно—  
посмотрѣлъ на небо синее—  
прислонился къ вязу гибкому—  
бросилъ шлемъ пернатый на землю,  
и рукою подперъ голову.  
Что онъ думалъ,—мы не скажемъ вдругъ;  
но въ глазахъ его задумчивость  
точно такъ изображалася,  
какъ въ ручьѣ густое облако:  
томный вздохъ изъ сердца вылетѣлъ.  
Конь его, товарищъ вѣрный другъ,  
видя рыцаря, бѣжитъ къ нему;  
ржетъ и прыгаетъ вокругъ Ильи,  
поднимая гриву бѣлую,  
извивая хвостъ изгибистый.  
Но Герой нашъ нечувствителенъ  
къ ласкамъ, къ радости товарища,  
своего коня надежнаго;  
онъ стоитъ, молчитъ и думаетъ.  
Долголь, долголь думать Муромцу?  
Нѣтъ, не долго:—раскрываются  
полы свѣтлоглубой ставки,

и глазамъ его является  
племъ пернатый развѣвается  
надъ ея челомъ возвышеннымъ.

Героиня подпирается  
кошемъ съ булатнымъ остріемъ;  
мечъ блистаетъ на бедрѣ ея. —

Въ ту минуту солнце красное  
возсіяло ярче прежняго,  
и лучи его съ любовію  
пролилися на красавицу.



## СОДЕРЖАНІЕ.

	СТР.
Предисловіе . . . . .	1

### АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЕ МАТЕРІАЛЫ.

1. Рыцарь нашего времени. . . . .	1
2. Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона . . . . .	22
3. Что нужно автору? . . . . .	29
4. Поэзія, стихотвореніе. . . . .	32

### ИЗБРАННЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

1. Деревянная нога, идиллія. . . . .	39
2. Графъ Гвариносъ, баллада . . . . .	43
3. Бѣдная Лиза, повѣсть. . . . .	48
4. Наталья, боярская дочь, повѣсть . . . . .	65
5. Волга, стихотвореніе . . . . .	93
6. Къ милости, стихотвореніе . . . . .	96
7. Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи. . . . .	98
8. Островъ Борнгольмъ, повѣсть. . . . .	120
9. Посланіе къ Дмитріеву, стихотвореніе . . . . .	134
10. Мелодоръ къ Филалету . . . . .	139
11. Филалетъ къ Мелодору . . . . .	147
12. Разговоръ о щастіи. . . . .	155
13. О щастливѣйшемъ времени жизни. . . . .	175
14. О любви къ отечеству и народной гордости . . . . .	179
15. Илья Муромецъ, богатырская сказка . . . . .	187

